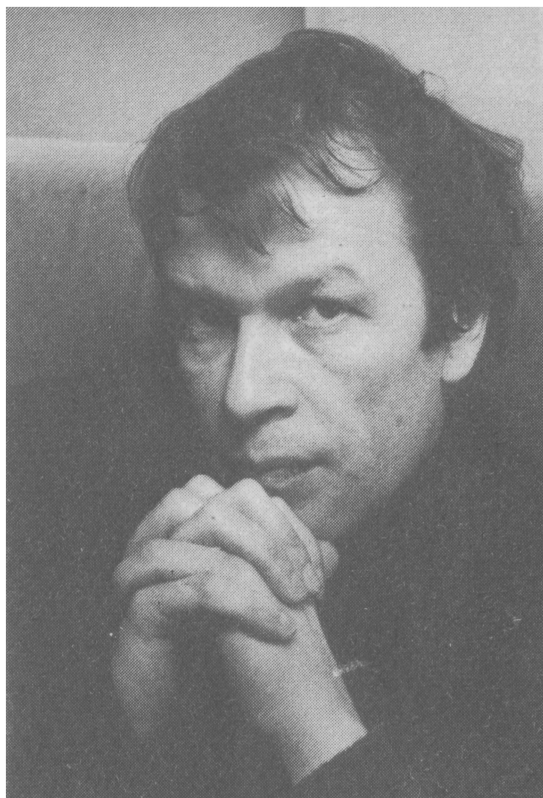


БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095



МОСКВА



№ 33 1991

*Виктор ЕРОФЕЕВ*

ПОПУГАЙЧИК



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 33

Издается с января 1925 года

Виктор ЕРОФЕЕВ

# ПОПУГАЙЧИК

РАССКАЗЫ

Москва. 1991

## *Виктор ЕРОФЕЕВ*

*Виктор Владимирович Ерофеев родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию «Достоевский и французский экзистенциализм» (в 1991 году она вышла отдельной книгой в США). Один из организаторов и авторов альманаха «Метрополь» (1979 год).*

*Автор романа «Русская красавица» (1990 год) — он выходит в двадцати пяти странах мира; автор книги литературных и философских эссе «В лабиринте проклятых вопросов» (1990 год) и сборника рассказов «Тело Анны, или Конец русского авангарда» (1989 год).*

*Вокруг прозы В. Ерофеева (ее еще называют «жесткая» либо «другая» проза) идут яростные споры — или ее резко отрицают, или безоговорочно принимают. Словом, равнодушных нет.*

## ПОПУГАЙЧИК

На запрос ваш, почтеннейший Спиридон Ермолаевич, какова, дескать, участь определена сыну вашему, Ермолаю Спиридоновичу Спирикну, принуждавшему мертвую птицу к противуестественному полету, ответу не сразу. А почему? А потому, милостивый вы мой государь, что признаюсь: смущен. Грудь разрывалась моя от волнения, читая ваш челобитный запрос, написанный кровью отцовского чувства. Растревожили вы меня, Спиридон Ермолаевич, разворошили! Такую тоску на меня напустили, что словами не передашь, только воем звериным. Однако претензий к вам не испытываю. Сердцем почуял я ваш отцовский позыв защитить сына вашего, Ермолая Спиридоновича, перед властью закона, намекая глухими словами на то, что имел, дескать, сын ваш, Ермолай Спиридонович, сызмальства сильную любовь к божьим тварям, способным к полету. Допускаю правоту вашего намека. Скажу даже больше. Всяк ребенок испытывает слабость к птицам, отлавливая их в рощах, лесах, а также в привольных полях и на огородах силками, или покупая их на медные деньги на птичьем базаре, чтобы заключить птаху в клеть, особенно если певчая. В таких действиях закон не усматривает ничего предосудительного и потворствует оным в их невинных забавах. Оно, конечно, так, но забавы — забавами, а мировая культура, почтеннейший Спиридон Ермолаевич, предпочтительно мыслит, по моему скромнейшему разумению, символами, толкование коих есть дело ученых мужей. С древних времен, например, идет мода гадать по внутренностям пролетающих мимо птиц. С другой стороны, если какая живая птица залетит к вам в комнату, будь то хотя бы щегол, будете ли вы, Спиридон Ермолаевич, рады такому обстоятельству? Нет, вы такому обстоятельству рады не будете! А почему? А потому, отвечаю я вам, что увидите в этом ужасный символ. Готов множить подобного рода картины человеческой темноты, но устремляюсь, однако, к выводу, имеющему некоторое отношение к сыну вашему, Ермолаю Спиридоновичу: птица есть существо, тревожащее душу, птица есть существо загадочное, неподвластное нашим прихотям, а стало быть, шутки с ней плохи. А что между тем вытворяет сынок ваш? Он шутки шутит! Ермолай Спиридонович изволит шутки шутить с дохлым попугаем — птицей особенно подозрительной.

Попугай уже сам по себе символ, и черт ногу сломит, разбираясь в его толковании, поскольку вся мировая культура от своего зачатия только и знает, что судачит о нем как излюбленном кумире. К тому же заморская птица. Вы же, Спиридон Ермолаевич, с этойкой легкомысленностью, достойной лучшего применения, строчите в своем запросе, что, дескать, забава сына носила характер невиннейший. Подумаешь, куча делов! Взял, мол, сын мой, Ермолай Спиридонович, усопшего вечным сном попугайчика по кличке Семен, проворно залез на крышу собственного вашего дома, что на Лебяжьей улице, и стал подкидывать ее кверху, как Иванушка-дурачок, в расчете, что дохлая тварь в родном ей воздушном пространстве обрящет второе дыхание, вспорхнет и чирикнет, то есть в некотором роде даже воскреснет. По вашим поспешным словам судя, был в том поступке Ермолая Спиридоновича скорее недостаток соображения, нежели подлый замысел, скорее избыток болезненной фантазии, слабость нервов и дрожь в целом теле, нежели стройный план и интрига. При этом вы, разумеется, возмущены его действиями и вызываетесь сына вашего, Ермолая Спиридоновича, выпороть плетью без всякого снисходительства. Ясное дело: отцовские чувства! Повторю вдругорядь: претензий по ним к вам, Спиридон Ермолаевич, не имеем. Вы человек почтенный и остаетесь им пока пребывать. Но соблагволиите понять и нас, таких же самых многолетних слуг отчества, водрузите себя на мост, например, место. Ведь если подобные опыты участвуют, что тогда? А кабы заморская дрянь взлетела? По уверению вашего безумного сына, Ермолая Спиридоновича, она и так пару раз взмахнула своими погаными крыльями — то есть проявила некоторую попытку к воскрешению! Ну, а вдруг, паче нашего с вами чаяния, взяла бы и вовсе воскресла? В каких бы терминах мы объяснили сие нарочитое обстоятельство нашим доверчивым в своих лучших побуждениях соотечественникам? — Теряюсь в роковых догадках...

### ХОРОШИ БЫ МЫ БЫЛИ!

Эх! Да что говорить! Сложения сынок ваш, Ермолай Спиридонович, оказался деликатного, можно даже заметить, subtilного. Дивились мы. В кого он такой выродился? Ну-с, молодой человек, вопрошал я Ермолая Спиридоновича, разглядев его хорошенько, отвечай на вопрос: зачем выкопал птицу из места ее захоронения, или, иначе сказать, из выгребной ямы? Какого, спрашивается, черта ее эксгумировал? Отвечал уклончиво, но поспешно и с учтивостью несомненной, помогая ручкой белой себе при ответе, ручкой, значит, себе помогает, чтобы доступнее выходило. Насторожился я, созерцая такие манеры. Вижу: не только сложение, но и манеры диковинные, обходительность дальше некуда. Уж не с прожидью ли он у тебя, Спиридон Ермолаевич? Все пытался на понимание взять, ручкой, видите ли, себе помогал — одно, можно сказать, заглядение. Но не прошел номер — не в цирке! А про себя я сжух, отмечаю: не нашего засола огурец! Из его слов что складывалось? Какая намечалась картина? Расскажи, говорю, с самого начала,

да ручкой своей белой не махай у меня перед носом, не выношу! Рассыпался в извинениях, будто мне от него извинения надобны, будто он меня этими своими извинениями облагодетельствовал! Но молчу. Однако между тем спрашиваю: вот вы, Ермолай Спиридонович, желали птицу воскресить, а птицу эту, по компетентному освидетельствованию, уже черви земляные ели, не заметили? Белые такие черви, как ваши пальчики? Всю ее облепили, равно как муравьи участвовали на этом пиру... И как такая птица воскреснуть имеет быть? И как в руки холеные не брезговали ее взять? Отвечает, понуря голову; а птица Феникс? Вижу, милостивый вы мой государь, Спиридон Ермолаевич, умен ваш сынок, Ермолай Спиридонович, не по годам. Ишь ведь, птица Феникс! Откуда, спрашиваем, имеешь сведения о такой птице Феникс, кто, дескать, такая? А это, говорит, был один такой красноперый орел, что летал из Аравии в Древний Египет; там сжигал сам себя живьем, как случалось ему дожить до преклонного возраста в пятьсот лет, а потом возрождался из праха молодым и здоровым, так что черви и тут не помеха... Ловко, смотрю, у него получается. В чем же ты, спрашиваю, видишь соль сей байки о краснопером орле? Как, продолжаю вопрос, дошел ты до жизни такой, что в бусурманские байки веришь? Отвечает опять же уклончиво: байке, дескать, положено быть удивительной. Ты, говорю, не крути, не запирайся, а то выйдет, говорю, самому тебе байка! Излагай, хулиган, подноготную! Да я, вскричал он в сердцах, вам чистую правду говорю! и опять всплеснул своей ручкой. Ну, Бог с тобой: говори, а мы посидим, послушаем. Да только не горячись, не вскрикивай. Ты, говорю, на кого кричишь? На кого, так сказать, голос подымаешь?! Я тебе, Ермолай, в отцы гожусь, а ты на меня кричать вздумал! Молчит. Зарделся. Гожусь, спрашиваю, я тебе в отцы или не гожусь? Отчего, отвечает, не годитесь? Я к вам, как к отцу родному, и обращаюсь... Ишь ведь, соображаю про себя, уже и отцом родным нарекает, как бойкая баба, подмахивает... Неспроста. Интересуюсь: а этот твой попугайчик бирюзового колора по прозвищу Семен — он, должно быть, тоже какой символ или как? Все в мировой культуре, Спиридон Ермолаевич, символы, одни символы, куда ни кинь взгляд, особливо попугайчики. Он же, сын ваш, Ермолай Спиридонович, при ответе ссылается на детский плач, повествует известную нам историю, как подход попугай по прозванию Семен в семье боярского лекаря Агафона Елистратовича, соседа вашего по Лебяжьей улице, что закупил заморскую птицу в утешение двум младенцам своим: пятилетней Татьяне Агафоновне и трехлетнему сопляку Ездру Агафоновичу, закупил, как положено, на птичьем базаре, у голландского купца Ван Заама, а по-нашему Тимофея Игнатьевича. Купец тот, Тимофей Игнатьевич, ничем не знаменит, нрава кроткого, кроме шрама на своем голландском носу, полученного им уже в наших краях по случаю мелкой драки с женой. Посвящаю вас в сии подробности, дабы вы, Спиридон Ермолаевич, знали, что я свой хлеб зря не кушаю: без подробностей не создашь картины, тем более когда с подвохом. Стало

быть, закупил сосед ваш, Агафон Елистратович, попугая заморского небольшого росточка, небось из жадности, окрестили Семеном. Заключили птицу, как положено, в клеть. Кормили, со слов Татьяны Агафоновны, пшеном. Но попугайчик тот, печально известный своим несостоявшимся, слава Богу, воскрешением, есть пшено и другой прочий корм наотрез отказался, выказал заморский норов и, невзирая на хлопоты детей, стал подыхать по причине добровольной голодухи. На третьи сутки Семен издох под общий плач Татьяны Агафоновны и Ездры Агафоновича, трехлетнего сопляка, который, подлец, еще не говорит или делает вид. Агония длилась три с половиной часа, время послеобеденное, и закончилась натуральной смертью птицы.

В таких терминах повествует сию историю сын ваш, Ермолай Спиридонович, после чего превращается в ее главное действующее лицо. Но не вдруг. Как положено, после смерти птицы состоялся обряд ее погребения в выгребной яме, чтобы заразы не разносить. При погребении собралась небольшая толпа в двадцать шесть рыл, привлеченная воплями лекарьских отродий. Как сказывал сам Ермолай Спиридонович, участвовавший в похоронной процессии в качестве созерцателя, ночь накануне перед процессией провел он в слуховых галлюцинациях, несмотря на то, что боярский лекарь Агафон Елистратович посулил своим детям купить им взамен околешнего попугайчика что-нибудь еще более забавное, типа козы. Наутро Ермолай Спиридонович вышел из дома с твердое сложившимся намерением вызволить птицу из ее прохладной могилы в то время, как моросил дождь, размножая на улицах грязь, и мамзель Шелгунова из окна родительского ей дома, в перерыве между уроками игры на арфе, отчетливо видела, как сын ваш, Ермолай Спиридонович, ногтями выцарапывал попугайчика из выгребной ямы, видом своим напоминая облезлую кошку, которую, дескать, потянуло полакомиться стервятником. Последующий срам вам, любезный Спиридон Ермолаевич, несколько знаком, судя по вашему необдуманному запросу, удивительному для служивого человека. Как же вас, однако, сподобило воспитать сумасброда, ставшего впоследствии истинным смутьяном! Как? Про это вы отмалчиваетесь, моля за сынка, а хотелось бы знать, чтобы другим неповадно было. Только я-то сразу смекнул, как предстал он предо мной, что ненашенский, несмотря что прикидывается, и говорю ему, как он кончил: а теперь, сынок, изложи подноготную. Так, перечит он мне, это и есть, дескать, вся подноготная! Побьемся, говорю, об заклад, что не вся? Молодцы мои стоят в дверях, в красных шапках, усмеваются. Эй, говорю, погодите, весельчаки, зубы скалить, может, молодой человек одумается да и выиграет у меня сто рублей и почетное выдворение на волю в придачу. Не-е, качают головами мои молодцы, не выиграет, больно он завиральный, где только выискался. Цыц! — говорю, — раньше срока вы мне не радите! — и к сыну вашему, милому отроку, обращаюсь, придвинувшись близко. Слабо, Ермолаюшка? Говорит мне Ермолай, отшатнувшись: Нечего мне вам больше поведать. Все сказал. Но худого,



поверьте, не делал... Выходит, стало быть, ради детских капризов порешил выкопать птицу, так, Ермолаюшка? Выкрал птицу и проворно на крышу скок. Шепчет нежно: Ну, лети, мой Семен! Лети, голубок! И взмахнул тут издевательский червем бирюзовый Семен-попугай бирюзовыми своими крылышками, взмахнул пару раз в слепой надежде вернуться к прежней жизни... Во-во, — сказал я тут, осерчав, — во-во, в этом, Ермолаюшка, и есть СИМВОЛ! — Нету тут никакого символа! — возопил сын, ваш, гусь лапчатый, Ермолай Спиридонович, — нету! — Ну, это ты кому другому поди рассказывай... — Что это вам, — мне в ответ Ермолай Спиридонович, — всюду как бы символы мерещится? Помолчал я, вгляделся попристальней в вашего, Спиридон Ермолаевич, юношу и отвечаю, протерев салфеткою плешь: А потому, славный ты мой Ермолай Спиридонович, мерещится, что культура мировая, прости Господи, с самого ее зарождения, по заверению ученых мужей, символами начинена, и никуда нам из сей клетки, как ни тужься, не высочить! — И ударил я его, сына твоего кареглазого, прямо в зубы от всей души, оттого, что тоскливо стало, применил профилактику, а кулак у меня... ну, да вы, Ермолаич, знаете. Так и брызнули зубки его в различные стороны, словно жемчуг с порвавшейся нити — так и брызнули, покатались. Помолчали... Как вернулся к мысли Ермолай свет Спиридонович, посмотрел на меня щербатым ртом с удивлением. Отчего, дескать, такая немилость? Ничего, заверяю, не плачь, новые отрасли! Стоят в дверях мои молодцы, в красных шапках, животики надрывают. Но невесел сам Ермолай Спиридонович, потери считает, даже шутке не улыбнется. Улыбаться, наставляю, полагается, когда старшие с тобой шутят и в отцы годятся. Сам, восклицаю, учил нас шуткам смеяться, с попугайчиком фокус показывал!

Пытали и мучили мы вашего сына, Ермолая Спиридоновича, с пристрастием, иначе не можем, не обучены. Дивились субтильности его строения. Галантная штучка! Пытали его большей частью способами, веселящими душу. Погружали, для примеру, в навозную жижу с головкой: предлагали барахтаться; сажали на кол, завязав глаза, понарошке, понятное дело, вместо кола применив мужской струмент нашего дядьего Федьки, по кличке Заслуженный. Помните ли вы его, Спиридон Ермолаевич? Он вас очень помнит, говорит, что мальцами с вами разом в лапту лупились, вместе с Сашкою Щербаковым, что еще утоп прошлой зимой в проруби. Запускали ему также в кляп муравьев; надували через сраку, как лягушку, при помощи английского насоса; рвали ноздри и ногти щипчиками; звали девок срамных и просили его, Ермолая Спиридоновича, полизать их срамные язвы, авось заживут. Лизал. Ну, что еще вам поведать? Оторвали мы в конце концов погремушки — за ненужностью. Бросили псам. Хоть им сгодились. А зачем они ему? Нужны ли нам с вами, любезный Спиридон Ермолаевич, от него наследники? Я так думаю: не нужны. И сию потерю переживал опять не в меру болезненно, огорчался, браниться стал, как вернулось сознание. Дескать,

нелюди мы и нехристи, что даже обидно. Кричать, конечно, на дыбе не возбраняется, на ней всякий крикнет, но зачем оскорблять? Мы люди зависимые, по долгу службы исполняем серьезные поручения, а он нам на это, что дескать, нехристи. Нет, милый друг, это ты нехристию во всем объеме и выходишь, это ты супротив пошел порядка вещей, не мы, а на дыбе что у человека на уме — то и на языке, как у пьяных людей наблюдается, стало быть, предположение мое относительно того, что не наш он, государь вы мой, человек, сбывалось с каждым часом. Я, слава Богу, службу знаю, даром хлеб свой не кушаю, оттого понятие имею, как наши люди кричат на дыбе и как не наши. Наш человек никогда не назовет меня нехристию, потому что он так не думает, а ваш подлец сознался. Вел же он себя, доложу вам с печалью, трусовато. Уже после навозной жижи, отблевавшись, просил пощады и, как малое дитя, обещал, что больше не будет, а намерен, дескать, в будущем не заноситься, вести себя тихо, с охотой служить государству. Все это так — да только кому нужно его покаяние? Но просили, однако: рассей, мол, наши сомнения насчет воскрешения попугая по кличке Семен. Может быть, с соседом у вас, с Агафоном Елистратовичем, нелады были? Доносил про Агафона Елистратовича, что неладов вроде не было, но что лекарь, дескать, запойный пьяница, отчего людей врачует дрожащей рукой. Мы же Агафона Елистратовича с отличной стороны знаем и на донос относительно запойного пьянства отвечали полным негодованием. Однако чем объяснить, что не прошло и трех суток с момента закупки попугайчика, как попугайчик околеваает в страшных конвульсиях, будто кто его отравил, да еще раньше был словно хворый, не чирикал и от еды отказывался? Постой-постой, думаю, дай сообразить. Утер я свою малиновку плешь салфеткой и, следовательно, спрашиваю Ермолая Спиридоновича, сына вашего, предварительно защемив ему мошонку (которая о ту пору пребывала еще при нем висеть), в превентивном порядке: на случай обмана. Постой-постой, не ты ли, спрашиваю, падла, сам и отравил заморскую птицу в желании досадить своему соседу, боярскому лекарю Агафону Елистратовичу, а также удрученным детям его, Татьяне Агафоновне и Ездre Агафоновичу? Нет, отвечал, тараща глазищи от боли, сын ваш, Ермолай Спиридонович, нет! не-е-ет!!! — а глазенки-то побелели, губку, значит, мы закусываем, больно нам, значит, — не-е-ет.. то есть, да-ааа!!!. Защемили покрепче, стремимся понять: дескать, да или нет? Да! да! Это я! — кричит мне Ермолай Спиридонович, будто за глухого человека меня признал. — Я! Я, дескать, чтобы досадить!!! — Ну, славно. Досадить — а зачем? Ой, кричит, больно! отпустите! весь дергается, несчастный. Отпустите! я думать так не могу! А ты не думай, говорим, ты отвечай... — но немножко отпустили, а то боимся, язык прикусит, чем разговаривать будет? — Потому хотел досадить, объясняет, что не нравился он мне... — Почему? — мы опять защемили немножко... — Да потому, — закричал, — что честно служил отечеству! — Вот это дело! — говорю я. — Вот так бы сразу! Ну, отдохни, любезный... А как отдохнул,

говору: а не хотел ли ты вместе с птицей и Агафона Елистратовича отравить? Молчит, думает. Я только было защемиль собрался, а он уже и отвечает: да! Ну вот, сами видите, какая история налицо, уважаемый вы мой Спиридон Ермолаевич, но решили, однакось, не торопиться: мы — люди недоверчивые, простите за выражение. На следующий денек повели его поразвлечься на дыбе, это ему полезно, а то он как будто сутулый у вас, Спиридон Ермолаевич, не мешало бы заодно и выпрямить. Занятие уморительное, доложу я вам, особенно если баба, но замечу, что сын ваш, сублинный фрукт, он — та же баба, если не лучше... Но не смею более утомлять вас подробностями, позвольте сделать одно отступление сугубо философического порядка. Мы с тобой, Спиридон, были бы никудышними философами и обманщиками, если бы не отметили великую страсть человека к мучительству. Отчего государство законом ограждает своих верноподданных от произвола и самодурства? А оттого ограждает, что иначе перевелись бы люди в государстве, предварительно друг друга истребив, перемучив... У меня, к примеру, и на баб уж кляп так себе, недвижим, не чуёт разницы между их минимальными различиями, отведав немало, но как примусь за человека покруче, обеспеченный государственным полномочиём, ничего поделывать не могу, смотрит в небо, да так порою меня заберёт, что портки все заляпаю, моя баба думает, на сторону ходил, ан ошибается: с работы возвращаюсь... Страсть сия — глубокая тайна, и молчат в основном философы, спрятав головы в плечи, наподобие страуса; эта тайна посерьёзнее, чем пальцем во мшистой дыре крутить, тут нутро, Спиридон, наизнанку выворачивается, а понять ничего непонятно. Но люблю, вместе с тем, смиренных страдалцев, что на дыбе только пердят да покрывают, уважаю, и такого страдальца я за сто англичан ни в жизнь не променяю, ибо мучительство и страдание — богоугодное дело, а англичанин что? — говно, да и только! Или взять, допустим, Елисея-пророка, коего дети дразнили однажды плешивым. Гляди, плешивый!.. Обида невелика: каждому достойному мужу плешь иметь полагается. И не сказал Елисей детям худого слова, напустил на них двух медведиц, и растерзали они сорок два ребенка... То-то, брат Спиридон, вот нам с тобою и пища для размышлений: поучительная картина! — а ты все запросы пишешь, бумагу мараешь попусту. А что человек все и всех продаст — не сомневаюсь, только к нему подступись не спеша, не спугни, дай только время! Не дают времени, подгоняют, насаждают, торопят. Оттого в нашем деле и накладки случаются, а от них, Спиридон, непорядок множится...

А теперь, посудите сами, Спиридон Ермолаевич, что бы вышло, коли тот попугайчик, разъеденный червем, воспарил? ХОРОШИ БЫ МЫ БЫЛИ! И так, по словам смутьяна, махнул он пару раз крылышками, хотя позже на дыбе от своих слов неосторожных отказывался. Но ведь он, паразит, заврался вконец! То, видите ли, он сам отравил птицу, то, дескать, вместе с Агафоном Елистратовичем, чтобы яд испытать, — то — было и такое, скажу по секрету — доносил, будто вы его, отец то

есть родной, Спиридон Ермолаевич, подговаривали эксгумировать дохлую тварь. Тут-то мы (или, может быть, раньше?) ему и оторвали его причиндалы, дабы отца своего все не хулил почем зря, оторвали и — псам: пусть полакомятся... И на все-то он соглашается, все готов подписать, подтвердить, что ни скажи, на всякий вопрос рапортует положительно. Куда это, посудите сами, годится? Видим, хочет сбить с толку следствие, направить по ложному следу, утаить позорную правду. Но дошли, поплутав, до истины, сошлись, на худой конец, в общем мнении, что хотел ваш сынок, Ермолай Спиридонович, для того воскресить попугайчика, чтобы доказать преимущество заморской птицы перед нашими воробьями, и тем самым умалить нашу гордость, выставить нас перед миром в глупом, неправильном свете. Как пришли мы с Ермолаем Спиридоновичем к общему мнению, так и обнялись на радостях: конец, говорю, делу венец, несите, молодцы, нам вина и яств, мы отпразднуем! И несут нам молодцы белорыбицу, поросят и барашков несут, суфле разные и вино, что зовется игриво молоком Богородицы. Закусили и точим балясы...

Однако смутно подозреваю, что ты, Спиридон, воспаленный отцовским чувством, по которому не имеем к тебе претензий, интересуешься далее на предмет того, что случилось с твоим сыном, незабвенным и хорошо мне памятным Ермолаюшкой. А что с ним могло статься? Ничего не случилось. Все, слава Богу, обошлось по-хорошему. Утречком рано, часу этак в пятом, когда ясно солнышко позолотило маковки наших церквей, поднялись мы с ним потихоньку, рука об руку, на колокольню. Поллюбовались. Окрест лежал наш престольный город в сладком утреннем сне и тумане, петухи кричали, шумели сады. Амбары, стогны, гудки паровозов, университет — все пребывало на своих местах. Через город серебряным змием протекала река, а на том берегу, на высоком, бор стоял — загляденье, и только! А какой, Спиридон, поднимался дух от трав. Пахло клевером, Спиридон, то густой запах! Лепота! — молвил я, оглядевшись. Лепота! — молвил Ермолай Спиридонович. Посмотрел я на него с боку. Одно слово скажу: красавец! Даже бледность похмельная и та, переливаясь в нежную голубизну, шла на пользу его обличию. Ненароком попутанный блудливыми бесами, дождался он часа своего избавления и, предвкушая новую жизнь, был заранее благообразен. Ну, с Богом! — сказал я и подвел его за руку к уступу звонницы! Лети, Ермолаюшка! Лети, голубок! Он шагнул в пустоту, распластав крестом руки. На одну минутку взяла меня было мука сомнения: уж не воспарит ли он, как бирюзовый попугайчик, на радость бесам? С некоторой тревогой глянул я вниз, перегнувшись через поручни. Слава Богу! Разбился! Славно, вижу, шлепнулся, аж мозги раскрошились спелой дыней на мостовой. Молодцы мои в красных шапках бежали укрыть Ермолая Спиридоновича казенным сукном. Я перекрестился.

Не тужи, Спиридон Ермолаевич! Брось, не тужи! Было бы о ком! Не тоскуй о мерзавце! Он и тебя заложил, да я ту бумагу припрятал, хо-

да не дал. Как поостынут твои отцовские чувства — наведайся: ходим в баньку, попаримся, выпьем пивка. У меня хозяйка крепкое пиво варит, славно шибает! Заходи по-свойски, без церемоний. А детишек ты еще родишь, мужик ты небось исправный пока, хоть и в возрасте. А не родишь — тоже не беда, перебьешься. Не оскудеем! А сынок твой, Ермолай Спиридонович, он, конечно, прямиком в рай проследовал: мученик, он всегда в раю, даже если за неправоe дело. И взирает он на нас оттуда ласково, забавляется своим бирюзовым попугайчиком, гладит перышки и — благодарствует. Как подумаешь, как представишь себе такую картину, даже зависть берет. Спиридон, ей-Богу... ну да ладно, хрен с ним, пусть радуется!

< ... >

Хороша, хороша до жути весна в Подмоскowie! Все течет, шевелится, вздрагивает. Осень тоже несказанно красива. Лес словно охвачен желтым пожаром. А тишина! Уши закладывает. Только слышно, как стучат молотки шабашников да визжат пилы, брызгая пахучей стружкой, да негромко поют редкие осенние птицы. За лесом, совсем рядом, Москва-река. Здесь это тугая, своенравная, почти горная речка. В июльский полдень она заманивает худошеих мужиков со следами бретелек от маек, нервных баб с глубоко посаженными, будто в лунки, глазами, плохо воспитанных пионеров и школьников. Некоторых из них благодаря ухищрениям река превращает в утопленников и волочит безвольные тела аж до самого Звенигорода, где они всплывают супротив загаженного монастыря, как подводные лодки, для острастки грешников. Когда-то в этих местах жил юный Герцен. Паутина тонкой вуалью липла к нежному лицу бастарда. Здесь, в Кубинке, раскинулся аэродром. Один за другим взмывают в небо серебристые тушки истребителей с красными звездами. Перестук молотков приостанавливается. Шабашники запрокидывают головы в пестрых курортных кепках. Наши! Это наши истребители! Шабашники тяжело дышат. Вот такие вот сбили корейца! В ведре булькает грибной суп. Их глаза наливаются светлой кровью. Поделом ему! Скоро обед. Самый молодой откомандирован в магазин. Он идет по лесной дороге, лягушачий рот до ушей. Большие рабочие кисти рук. Вдруг напрягается, углубляется в лес. Под невысокой елкой присаживается на корточки, крихтит, роется в прелых листьях. Извлекает оттуда большой крепкий белый гриб. Крутит в руках, одобрительно квакает, бережно прячет за телогрейку.

В обед пошел дождь. Шабашники сидят в даче, крыша есть, им плевать, пусть идет! Они выпивают, едят суп, закусывают. Самый образованный из них — Виктор. Год проучился в авиационном. После того, как отчислили, служил в ГДР, в 1968 году освобождал Прагу от хулиганов, в память о службе в танковых войсках носит танковый шлем. Самый мастеровитый, конечно — Евгений Иванович, это он всем руководит, хотя формально бригадиром выступает Павел, но Павел славен другим, по вечерам бегает в соседний дом отдыха, однако ленив, отчего специали-

зируется на легкой наживе — от сорока до пятидесяти и выше, — иногда они заплывают на строительный объект дачи — душистые, крашенные жидковолосые сладкоежки, — посмотреть, как он заколачивает гвозди, провести время, пригласить в гости, а Евгению Ивановичу этих молодых уже не нужно, он свое отбегал, работа его больше забирает, дача попала хитрая, строится в каком-то фантастическом духе, такие будто бы строят в швейцарских горах, с отвесными крышами, с одной стороны стропила до самой земли, с другой — окно в небо смотрит, занятно, Виктор говорит, он такие в Германии видел, а немки там, с ними нет проблем, объяснил он Павлу, да постой ты, сердится Евгений Иванович, ты про дом объясни, но глаза у него уже застекленели, что-то плохо он стал пить, старость не радость, и хозяин — дурак, зачем строит в непонятном духе? — вон лестницу на второй этаж велел переделать, поворот, видишь ли, не понравился, ну, ладно бы еврей, а то вроде русский, зачем ему, гаду, нужно выпендриваться, взять бы да поджечь к чертовой матери! Евгений Иванович озлобился и задремал. Остальные допивали вторую бутылку и радовались дождю: не хотелось вставать, двигаться. Женя сказал, что больше не пойдет по такому дождю, а дождь разошелся, так хлестало, будто истребители и впрямь разорвали небо, и тогда взялись уговаривать тоже еще молодого Бориса, у него мотоцикл. Борис из них всех был самым современным, одевался модно, и работа у него чистая, хотя не очень современная: играл на баяне в доме культуры в противоположном конце Подмосковья, а теперь вот на днях женился, да что-то это по нему не видно. Виктор тоже дня на три отлучался по семейным обстоятельствам, и тоже не скажешь, что у него только что умер отец: умеют наши ребята глубоко в душе скрывать самые разные чувства! Хозяин дачи приезжал их контролировать по воскресеньям. Они к встрече готовились, но не очень. На втором этаже, в комнате, задуманной как будущий кабинет хозяина, Женя соскабливал с пола свою застывшую еще третьего дня блевотину, Евгений Иванович, в очках, матерясь, перебирал лестницу, сверяясь по чертежу, Борис укатил в дождь за третьей бутылкой. Спали на полу не раздеваясь, в телогрейках, Виктор спал в своем шлеме, ночью вставали, пили воду, мочились в окно, к утру пришел Павел, весь мокрый, перепуганный, поднял всех на ноги, они скатились по лестнице вниз, выскочили из дома и устались.

Пока они спали, потоки мутной воды затопили подвал дома до самых краев. Закурили. Всем было ясно, что вода может размывать песчаный грунт, железобетонные сваи покосятся, и швейцарская дрянь запрокинется. Ясно было, что виноваты сами: яму отрыли, не подумали, что туда может стечь дождевая вода. Дом угрожающе сверкал своей новой железной крышей и слегка подвывал на ветру.

Хозяин еще нежилась в своей постели на улице Горького, когда его огорошили ранним воскресным звонком. Он приехал через полтора часа на собственной «Волге» вишневого цвета. Павел что-то горячо и не-

внятно наврал про плотину: дескать, размыло. Болезненное, уставшее от тяжелой кабинетной работы лицо хозяина было желтым и неприятным. «Ну, что же вы стоите, — поморщился он, — вычерпывайте ведрами». «Ведрами черпать три дня, — доложил Павел. — Нужна говнососка». «Это еще что такое?» — спросил хозяин с нелюбовью к слову из чужой и нескладной жизни. Ему объяснили. «Ну, и где ее взять», — спросил хозяин. Надо узнать у дяди Коли, сторожа, ответили ему.

Поехали, сухо сказал хозяин. Он взял с собой Павла. Когда бригада подвела дом под крышу, хозяин, как водится, угостил. Шабашники сбили рядом с домом стол и лавки вокруг. Расспрашивали про корейский самолет. «Верно ли, что у него на борту была атомная бомба?» — спросил Женья. — «Да не могло у него быть атомной бомбы! Я ж тебе сто раз говорил!» — в сердцах вскричал Виктор, который все знал про самолеты, но Женья все-таки сомневался. Хозяину нравились эти ребята. Они любили свою страну, возмущались недостатками, вот только пьют, конечно. «Вы знаете, — тихо сказал Виктор, — я хочу вас предупредить. — Он покрутил головой в танковом шлеме. — Павел налево загоняет вашу вагонку. Оттого ее не хватает». Уже стемнело. Разожгли костер. Женья рассказывал, как его когда-то судили в Мытищах. В зале суда он стал *косить*: разделся до трусов. На него кинулись милиционеры. Суд отложили. Евгений Иванович развязно спросил хозяина, зачем ему понадобилась дача в нерусском стиле. Хозяин ответил, но что именно, Евгений Иванович наутро забыл и никак не мог вспомнить. Теперь Виктор шепнул хозяину, что никакой плотины не было и в помине. Хозяин все-таки взял с собой Павла.

Дядя Коля за завтраком выпил и забалдел. Он шумно обрадовался гостям: застучал по столу кулаками и затянул русскую песню. Про себя дядя Коля распространял сведения о том, что в молодости был инженером, однако перед самой войной его необоснованно репрессировали. Хозяин подозревал, что это дядя Коля ворует у него стройматериал. Может быть, они с Павлом заодно, думал хозяин. Но где взять другой народ? В лагере дяде Коле перебили ногу. Он ходил циркулем. Его поэтому называли Шлѐп-Нога. В очередях Шлѐп-Нога выдавал себя за фронтовика.

— Говнососка... говнососка... — глубоко задумался инвалид. — Едем! — ликующе выкрикнул он.

Он объяснился: нужно ехать в поселок, у него там знакомый печник, можно сказать, родственник. Шлѐп-Нога уселся на переднем сиденье, Павел — сзади, с видом прилежного ученика, сложив на коленях руки, голубоглазый, светловолосый, приятно лысеющий. Если бы Чичиков согрешил с дворовой девкой, то плод их любви был бы вылитый Павел. Через несколько километров в осеннем лесу замелькал глухой зеленый забор.

— Тут у нас спецсанаторий, — почмокав губами, важно сказал дядя Коля. — Вохра его охраняет.



Хозяин, казалось, не слышал.

— Там в каждом номере арабские горки с хрусталем и холодильник, — обратился к Павлу дядя Коля. — И в холодильник каждое утро бесплатно загружают бутылку водки, бутылку коньяка и еще одну — хереса.

По несвежему лицу хозяина проползла кислая улыбка.

— Икру там три раза на день дают, какую хочешь, включая паюсную, — продолжал дядя Коля.

— Она соленая, если есть много, — сладким голосом рассудил Павел.

— Там специальную дают, несоленую, — строго сказал дядя Коля.

— Неслабо! — оживился Павел. Хозяин смолчал.

— А еще, — дядя Коля облизал губы, — у них там охрана с пулеметами и даже есть пушка. Как шарахнет!...

— Бросьте! — спокойно сказал хозяин.

— Я сам, своими глазами видел! — воскликнул дядя Коля. — Она в вестах, у входа стоит.

Тут прямо на них из-за поворота выехал огромный красный комбайн.

— Стой! Остановить его! — заорал дядя Коля.

Хозяин замигал фарами. Комбайн остановился. Дядя Коля вытащил ногу из «Волги», кругами пошел на комбайн.

— Слушай, друг — сказал дядя Коля, подбираясь к молодому комбайнеру. — Ты мне вот что скажи. Где тут взять говнососку? Может, в пожарной команде дадут?

— Они не дадут, — сказал комбайнер.

— Сам знаю, что не дадут, — согласился дядя Коля. — Где же тогда ее взять, Михаил?

— Не знаю, — сказал Михаил. — У Вовки спроси.

— Это у какого Вовки?

— У Передовика.

Демобилизовавшись четыре года назад, комсомолец Владимир Сорокин вернулся в родную деревню, не погнушавшись нелегкой работы на ферме. Теперь на животновода равнялся весь район.

— А где он, Вовка?

— Где же ему быть? — удивился Михаил. — Он всегда с поросятами.

— Ну, прощай Михаил, — строго сказал дядя Коля и пожал Михаилу руку.

— Что-то давненько вы к нам не заезжали, дядя Вась, — сказал комбайнер.

— Работы много, — объяснил дядя Коля. — Только я, это, не дядя Вась. Я дядя Коля.

— А, ну да! — Парень широко улыбнулся, показав красивые, как сахар, зубы. — Да ведь и я не Михаил вовсе. Я ведь Бодунов, Александр.

— Бодунов? — присмотрелся к нему дядя Коля. — Ишь ты! А ведь верно. Ты — Бодунов.

Поговорив еще с полторы минуты о прочих важных вещах, мужчины разъехались в разные стороны.

— На ферму! К Передовику! — скомандовал дядя Коля. — У него, я знаю, говнососочка новая. Как зеркало блестит!

Обнадеженный, но все равно унылый хозяин нажал на газ.

— Дядя Коля, — задумчиво попросил Павел, — расскажите еще про санаторий.

— Про санаторий? — задумался дядя Коля. — Ну хорошо, — в конце концов согласился он. — В общем, там такие порядки: на каждого пациента приходится в среднем два врача-специалиста, медсестра и несколько нянечек. Лекарства — только американские.

— Небось, красивые медсестры? — перебил его Павел.

— Отборные, ясное дело, — заверил его дядя Коля.

— Интересно, где они живут? — вкрадчивым голосом спросил Павел.

— Ну-ну, парень! — одернул его дядя Коля. — Они в зоне живут. За колючкой.

— Как монахини.... — вслух подумалось Павлу.

— Медсестры — ладно! — отмахнулся от него дядя Коля. — Главное, есть там специальное отделение.

— И что там? — оробел Павел.

— А там вот что, — неспешно сказал инвалид. — Там в подвальных помещениях покойники лежат в хрустальных, пуленепробиваемых гробах.

Хозяин с тревогой посмотрел на дядю Колю.

— Да-да, — выдержал взгляд дядя Коля. — Вы думаете, когда начальство умирает, их в землю закапывают? Не-е. Это их муляжи хоронят. А настоящих заморозят как следует и прячут у нас. Тут все сконцентрированы: и маршалы с Жуковым во главе, и стратег мысли товарищ Жданов, и всесоюзный староста, и Маленков, и Молотов, и Михаил Андреевич Суслов. А в дверях Главного Кабинета ледяным истуканом замер готовый на все пламенный соратник Клим Ворошилов... Когда понадобится, их отморозят, и они снова будут руководить, — с важным видом заключил Шлёп-Нога.

— Понял!.. — Павел даже рот ладошкой прикрыл. — Это на случай войны!

— Да и вообще на всякий случай, — наизидательно прибавил дядя Коля. — Оттого здесь и пулеметы, и пушка.

— Слушайте, — вдруг разнервничался хозяин, — я прошу вас в моей машине прекратить пороть эту... эту зловредную чушь!

— Почему же чушь? — обиделся дядя Коля. — Они там в мундирах лежат, с орденами... Там даже Берия есть. Он, когда над ним суд был, сказал: «— Не расстреливайте меня. Я талантливый организатор. Я вам

еще сжусь», — Никита подумал-подумал и удовлетворил просьбу заклятого врага.

— Пойдите! — встрепенулся Павел. — А как же они смогут воевать, если техника быстро идет вперед?

— А может быть, их там как-нибудь учат?

— Как их можно учить, мертвецов?! — взбеленился хозяин.

— Откуда я знаю! — пожал плечами дядя Коля и закурил вонючую папиросу. — Да вы поймите, мне врать невыгодно, — рассердился он. — Ведь когда Сталина разморозят, он меня первого посадит.

— Почему? — недогадливо удивился Павел.

— А он всех посадит, кто при нем сидел.

— А если они там протухнут? — обеспокоился шабашник.

— Не должны, — покачал головою дядя Коля. — Там у каждого гроба стоит военврач в чине полковника. А иногда их быстро размораживают, переворачивают на другой бок, чтоб пролежней не было.

Эти пролежни окончательно вывели хозяина из себя.

— Хватит! — рявкнул он на дядю Колю. — Уймись! Ничего там нет! Ни пулеметов, ни гробов! Я там отдыхал в этой санатории в прошлом году, летом! Вам ясно?!

Дядя Коля задумчиво смотрел вперед на дорогу и дымил папиросой. Лес был словно охвачен желтым пожаром.

— А что, — прищурился инвалид, — верно говорят, там в каждом номере стоит арабская горка с хрустальной посудой?

*Декабрь 1984 — февраль 1985*

## ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Это было самое модное убийство сезона. Все долго ходили под впечатлением, пока не перестали. Вспоминаю с нежностью. И все из-за светленькой. Я ботинки редко чищу, но тут почистил. Жена спросила угрюмо, как бы в шутку: на свидание, что ли? Со смешком отвечал: как сказать, как сказать, как сказать.

— Ты же ее мало знал.

— Ну и что?

Смотрела недоверчиво, с осуждением.

— Майонез купи на обратном пути.

Обрадованно заверил:

— Куплю!

Взволнованный, весь в предвкушении, вылетел из дому.

Осень!

Листья каштана и клена шуршат под колесами белого автомобиля. Как сказать, как сказать, как сказать. Попробуй, душенька, не приди! Я ощущал себя вдохновителем целой мистерии. Высокое небо сентября — вот купол моего театра! Быстро-быстро тру руки от удовольствия. Сбывались мечты.

Первоначальный замысел мелькнул год назад, такой же солнечной осенью, во внутреннем дворике института Склифосовского, у дверей невзрачного морга. Жду выноса тела одной старушки. Вдруг двери раскрылись, и их понесли: мужчин, женщин, детей — до <...>! Букеты цветов, кутерьма, катафалки. Тут почти все — неожиданно: отравления, наезды, стечение обстоятельств, кровавое месиво, апофеоз, вопли, гимн несчастному случаю, скорбь, быстрые взгляды и — морды шоферов. И неприлично много молодых, не то, что на кладбищах. У меня даже глаза разбежались, про старушку забыл, стою, потрясенный мощным вихрем людских эмоций.

И я стал наведываться в этот дворик, по утрам, к часу всеобщей раздачи, меня все больше и больше манило туда — я стою с непокрытой головой, остатки некогда пышной копны полощут сентябрьский, октябрьский, ноябрьский ветер, повалил снег, я поднял воротник, цветов поменьшилось, менялись погодные декорации, люди падали с обледе-

лых ступенек, невесты в черном целовали взасос мужские трупы, иной раз поднималась запретная вонь, было много и живого, неподдельного формализма — украдкой, не доверяя никому своей тайны, я бегал сюда, как будто на репетиции, с нарастающей частотой, страхась разоблачения, и — насыщался.

Здесь всем чужой, я стал совершенно свой, освоился до такой степени, что уже мог считать за лиц покойных все подробности их разнообразных мучений, — и это чтение перешло в страсть. Я понимал, что захожу в запретную зону, в зону каких-то нечеловеческих завихрений, перерождаюсь, что это опасно для жизни, но сладить со страстью не было сил.

Последствия не заставили себя ждать. Мир раскололся, и листья осыпались. Слова распадались на отдельные буквы, буквы превращались в бессмысленные значки, выстроенные в армейские шеренги, они куда-то маршировали, маршировали вдоль по вымершему бульвару, потом сворачивали за угол. Жена прокричала со злобной претензией: почему мы перестали ходить в кино? Что мог я ответить? Купил билеты. Показывали что-то тяжелое, густое, про войну. В середине сеанса я, неожиданно для себя, залился смехом. Кто-то сзади хватил меня кулаком по спине. Мы поспешно покинули душный зал. В растерянности остановились перед афишей.

— Что с тобой?

Я пожал плечами:

— Переутомился.

С театром вышло еще того хуже. На постановке какой-то детской драмы по Достоевскому меня просто-напросто вырвало. Театрик был маленький, студийный, актеры — неопытные. Мы сидели во втором ряду. Спектакль остановился. Из-за кулис просунулась глупая голова режиссера. Блевотина была свекольного цвета, с белыми макаронами. Я что-то бормотал, кланялся, извинялся.

Жена, конечно, решила, что я изменяю. Не сплю с ней. И как все они говорят в таких случаях:

— У тебя кто-то есть?

Я ответил ей странно, вопросом на вопрос:

— Ты думаешь, любовь побеждает смерть?

Ни слова не говоря, она разрыдалась. Решила, видимо, что издеваюсь. И в самом деле: глупость сказал. Хватит! Целую неделю не ходил. Крепился, крепился, а потом снова зачистил, как миленький. Тянуло только туда. При чем тут были эти красивые сталинские слова? Я принадлежал к поколению, которое до сих пор к грузину относится неравнодушно. Но чем больше ходил я во дворик, тем больше понимал, что все мы — не правы. И дело не в Сталине, а в жизненной установке. Ведь что я из дворика вынес? Только идиот может подумать, что я оттуда выносил кладбищенские, упаднические настроения. Меня охватила страсть, а не тоска. Я постигал всепроникающий, организационный дар

смерти, я научился, подняв воротник, ценить высокую чистоту жанра. Я оценил там, во двореке, недостижимый образец сталинского чувства юмора. Но — к черту подробности, хотя они навели меня на мысль. Она начинала во мне шевелиться — но вырисовывалась пока что смутно.

Я только и понимал, что есть три ступени. Первая — сраная — это мнимое здоровье духа (это чад, это бабы и прочие судороги), вторая же — прекраснейшая болезнь — и я опасно болен, а вот третья? Взойти на третью. И не Гегель тут мною руководил, а тот же дворик: как превратить слепой случай в торжество воли и рукоделия? Как?

А она думала, изводясь, что я ее не трахаю потому, что изменяю — а я не изменял, я изменялся — я даже, может быть, преображался. А она, глупая, совсем извелась.

Ясность пришла позже, весной, одно завихрение сошлось с другим — и тут, действительно, сильно завьюжило.

Весной Змеед надумал жениться. Это такая кличка — Змеед, собственно, он — единственный друг. А кличка такая не потому, что он — говно, а просто еще в институте, сто лет назад, он открыл самое короткое слово с тремя «е». Все всегда думали, что только и есть — длиннее, а он сказал: есть короче. И стал с тех пор Змеедом. Это даже мило — змеед; меня в школе, например, обезьяной дразнили — и я очень обижался — за строение черепа — страшно переживал — но потом это как-то само собой рассосалось. К тому же у меня всегда был успех среди женщин. Всегда! Итак, девятнадцатого апреля Змеед приглашает на свадьбу.

Свадьба скромная, в узкой комнате, но кормят вкусно и много вина. Среди гостей — та самая черненькая, полнозая, с хрупкой шейкой, — которую мы сегодня провожаем в последний путь. Нас посадили рядом. Она вся шипела и пенилась, она украдкой говорила всем гадости — от нее шел черный флюид. Я не сразу сообразил, в чем тут дело, я помнил ее много пьющей и мало пьянеющей, я помнил ее замечательной хохотушкой, с бокалом белого вина, растрепанную, с красными губами, на коленях у Змееда — в тот единственный вечер, совсем студентку, с подружкой, сидевшей на этом вот самом диване, — и вдруг воспоминания, как кишки из распоротого живота, повывлезли наружу...

Забывая, вычеркнутая из жизни светловолосая подружка властно заявила о себе. Как мог я ее забыть? Как мог я ее пощадить в тот вечерок?.. Все незамедлительно всплыло, и мне захотелось ее увидеть, вырвать, выковырять из провала памяти. Они заперлись в ванной и долго, до утра мысли. А мы со светленькой остались на диване. Мы слышали их веселые визги. Мы разговаривали о литературе. Мы не заметили, как стали целоваться. Она откинулась и сказала: какой у тебя хороший одеколон. Я отвечал: английский. И вдруг она сообщает мне со смехом, что боится. А я уже был весь в мыле. И волосенки у нее — светленькие-светленькие. Я даже руки потер от удовольствия. Такая привычка. Подумал, все боится! Я озверел и ослаб. Я умело скрыл от нее свою слабость,

как будто и в самом деле пощадил. И остался в ее глазах благороднейшим человеком, не понятно только: была ли она благодарна. С этим всегда у них непонятно.

— А где, говорю, светленькая?

— Какая светленькая?

— Ну, эта, говорю, твоя подружка. Помнишь?

Молчит.

Я говорю:

— Дай мне ее телефон.

Молчит.

— Слушай, говорю, мне очень нужно: дай телефон. У меня к ней дело. Дай!

Она посмотрела на меня, поморщилась:

— Ради бога, говорит, <...> от меня.

— Смотри,— говорю с тяжелым взглядом,— пожалеешь!

— Испугал!

— Ну, как знаешь.

Не дала телефона.

Под конец напилась как свинья. Змеед ее в ванную водил. Уж не знаю, чем они там занимались — по старой традиции. Жена Змееда нервничала. Я угрюмо молчал.

Под утро расходились. Мы с женой, она и еще один молодой драмодел с подловатым лицом. Жена еще на прощанье сказала:

— Ты б ее проводил. Она на ногах не стоит.

— Ничего с ней не станет,— сказал драмодел убежденно. Черненькая удалялась в сторону бульвара. Мы больше не виделись. Драмодел ее слезил.

Вот так-то, мой друг, Змеед. Она мечтала выйти за тебя замуж, а ты соблазнился женой, сшитой из грубого добротного сукна.

Змеед ничего не ответил. Он был просто раздавлен горем. Было страшно и радостно смотреть на него.

В Вишнях состоялось комсомольско-молодежное отпевание. Гроб с ее телом выставили посередине. Другие гробы, со старушками, теснились по углам. Молодой, брызжущий здоровьем поп после литии говорил о связи науки с религией. Он говорил о том, что в Бога полезно верить, особенно в такие минуты, как сейчас. Я не мог с ним не согласиться. Меня только раздражало, что он совсем не обращает внимания на старушек, почти не машет кадилом в их сторону, нету равенства, не по-христиански. Посторонние люди, отвлекшись от умерших родственников, обсуждали убийство. Переговаривались: это ее муж зарезал. Все это очень будоражило. Я вылез из белого автомобиля. Я так и знал! Сколько девичьих лиц! Милые-милые девушки, независимые во взглядах и движениях, небольшие, но очень приятные груди. Зимой они носят свитерки на голое тело и разнообразные джинсики, под которыми вы ничего не найдете, кроме узеньких трусиков, которые они ежеднев-

но меняют, и почти ежедневно моют голову, и мило пахнут туалетной водой, ненавидят колготки и даже в морозы норовят в шерстяных носочках, но о р м а л ь н о относятся к мату и к Набокову, в работе прежде всего ценят свободное расписание, не очень любят танцевать, зато хорошо пожрать — это любят, и еще любят сказать, показывая на мужика: «Я его трахнула». Вот такое вот младое племя развелось — независимое, а тут они стоят, созданные мною, сбившись в кучу, очаровательно зареванные, с цветами, в черном, одна даже с вуалькой по случаю, столпились — милые! милые! — бледненькие, неподкрашенные, перепуганные, перемазанные слезами — и у каждой, у каждой под кофточкой — теплая грудь с карим сосочком, а там ниже — нежные, влажные, волосатые мышки-норушки. Одна — серенькая, другая — рыженькая, а где-то тут должна быть и моя, светленькая.

Шептались о подробностях. Я прислушался. Ее подстерегли и убили возле дачи, вечером, когда она шла в магазин. Затащили в кусты и зарезали зверски, несколько ударов в шею, в спину, живот. На дачах в сентябре — пустота, повезли детей в школу. Муж — а она к тому времени уже вышла замуж назло Змеееду — ждал-ждал, не возвращается, пошел, увидел туфельку на дорожке. Видит — в кустах что-то белеет; бросился: она. Обмазавшись кровью, притащил на дачу; в ней еще что-то булькало; она была живуча, как кошка. Побулькало и перестало. Сонная артерия перерезана. Тогда он схватил топор и — весь в крови — помчался на станцию. Там-то и подобрала его милиция, с топором. И посадили. И обвинили в убийстве. А кто ее муж? Да какой-то не то архитектор, не то еще кто, комплексушник и психопат, друг детства. Понятно. В церкви я спрятался за колонной, выглядывал: видно плохо было, заметил только, что на лоб ей, как водится, прилепили бумажку. Подходить было, однако, страшно. Мне казалось, она подмигнет. Пересилив себя, подошел. Лицо у нее было сильно изуродовано — даже я отшатнулся: глаз, видно, вытек, висок разбит, лицо синее, с порезами, кровоподтеки. Сопротивлялась, дрянь! Я быстро вышел во двор, закурил.

— Что это у тебя такой вид, будто ты кур воровал? — подошел ко мне Змееед. А я не знал, что у меня такой вид. Нужно быть повнимательней. И вдруг мне до боли захотелось светленькую. Я даже с женой пытался спать, как со светленькой, но не то, не то, совсем не то. Я хотел светленькую — это все равно, что спать со своею же памятью. Это здорово! Я бормочу Змеееду неразборчивое:

— Почему ты решил про кур? — то есть даже оправдываюсь. Тут он сказал, что всех нас снимают скрытой камерой, что следствие ничего не выявило, что муж, конечно, мерзавец, но не виноват, что он ездил в подмосковный уголовный морг, видел ее раздетой — чудовищно! Потом мы помогли донести гроб до автобуса и он показал мне ее мать, Ксению Петровну, совсем растерявшуюся старушку. — Зачем же ее кремируют? — спросил я. — Ксения Петровна отвезет ее прах в Гомель и там захоронит. Она же из Гомеля. — А я и не знал. А где отец? Отец не при-



ехал. Он — алкоголик. Уже были обыски. Даже у драмодела был обыск. Оказалось, что он — монархист. Какая может быть у девушки тайна? А тут все полезло: она с какой-то сектой была связана, и даже валюта волилась, и что наркоманка она, б.... и антисоветчица. — О Господи! — сказал я. Ей кто-то угрожал по телефону. Неизвестно, кто. Она последнее время жила в полном страхе. Я был потрясен. Я ей по телефону не угрожал. Мы ехали за катафалком в крематорий. Напрасно думала Ксения Петровна, что захоронит дочку в Гомеле: мужа выпустят за отсутствием улик, он похитит прах и будет носить его в ладанке на шее. Кто же ей, однако, угрожал по телефону? Следствие сейчас пытается выяснить. Идиоты! Пусть выясняют.

— Не понимаю, — сказал Змеед, — почему ее так мучили?

— Ну знаешь, — хмыкнул я, — бывают же маньяки.

— Нет, — сказал он. — Это — не маньяк. Маньяк бы изнасиловал.

— Разные бывают маньяки, — мягко возразил я.

— Судя по всему, он ударил ее чем-то тяжелым в низ живота. Скорее всего, ногой. Она, бедняжка, обосралась.

— Любимый прием южноамериканской полиции в расправе с инакомыслием, — заметил я. — Девушка из гордой красавицы в момент превращается в испуганную засранку.

Я прикрыл глаза. Она думала, обосравшись, что я за телефоном подружки приехал. Я только усмехнулся. Белый автомобиль стыл в придорожном лесу.

— Может быть, потому и не изнасиловал, что обосралась? — подумав, выдвинул я необоснованную гипотезу.

Змеед промолчал. И вдруг он мне заявляет, что вчера ночью вызывал ее дух. То есть — стало быть — спиритизм. И она приходила к нему, на кухню. Он сказал, что за ночь похудел на два кило, что духи питаются энергией живых людей. Я, огорошенный, смотрел на него. Я подозревал за ним мистические наклонности, но не знал, что — спирит.

— Зачем ты ее позвал? — спросил я с тревогой.

— Чтобы узнать, кто убил.

Я сильно струсил, но старался не подавать виду. Мы долго хранили молчание.

— Ну и что? — спросил я наконец. — Узнал? — и покосился на него.

— Это точно была она, — деревянным голосом сказал Змеед. — Я сразу узнал ее интонации. Она охала и стонала. Она была еще очень смущена и растеряна. Все это так неожиданно-негаданно. Она сказала причитая: «Ох, я, корова, дала себя убить!».

Я долго ждал, пока она перестанет охать. Потом я прямо ее спросил: — «Кто тебя убил?» — Она ответила: — «Один мужик». — Я спросил: — «Ты его знала?» — Она сказала: — «Да».

Машина вильнула в сторону; я с трудом справился с головокружением. Змеед продолжал:

— Тогда я спросил: — «А я его знаю?» — Она ответила: — «Да». — Тогда я спросил: — «Кто он?» — На это она сказала: — «Не скажу...» Понимаешь, она объяснила, что это очень опасно для меня, что, если она откроет секрет, меня тоже могут убить. Потому она мне сказала, что всегда любила меня.

Уже на подъезде к загородному крематорию я сказал:

— Помнишь, в ту ночь... У нее подружка была.

Змеед не мог вспомнить. Он помнил, что кто-то был, какая-то подружка, но не помнил, кто.

— А что? — спросил он.

— Да нет, ничего, — сказал я. — Мне хотелось бы с ней увидеться.

— Жаль ее, — заключил Змеед.

— Еще как! — согласился я.

Я подумал, что, когда умру и мой дух будут вызывать на разговор — не пойду. А потом подумал: это как на танцах. Одних приглашают, а они отказываются, а другие сидят и сохнут. И духи, наверное, сохнут, когда их не приглашают. Так что, может быть, и схожу.

В крематории было торжественно и не так тесно, как в церкви. Я занял наблюдательный пункт возле распорядительницы в синем костюмчике. Я видел всю эту толпу милых девушек. Ведь она была общительной, компанейской. Я видел Ксению Петровну с поникшей головой у самого гроба. И ее — с наклейкой — издалека. Все всхлипывали и не произносили ни слова. Я видел, как музыканты на цыпочках подошли к балюстраде. Они тоже почувствовали что-то особенное. Потом они проникновенно заиграли. Представление разворачивалось на славу. Было много светленьких — я с ужасом понял, что не помню лица. Я хотел ее, но не помнил лица. Я хотел жертву моего благородства. Распорядительница растроганным голосом пригласила попрощаться. Мне подумалось, что если бы всех разноволосых мышек-норушек слепить в один ком — то-то вышла бы крыса! Вы — мышки-норушки, я — кошка-норушка! Я — кошка, вы — мышки... Все стали прощаться. Одни целовали ее в лоб, другие просто постоят и проходят. Я тоже приблизился, постоял, посмотрел. Ну, прощай! До свидания! — Раздались громкие, последние рыдания девушек, им вторили молодые люди, замаскированные следователи, музыканты, и даже распорядительница с львиным лицом. Весь мир рыдал, сойдясь на мой спектакль. Страх быстро улетучивался. Распорядительница вбила символический гвоздь и возвестила о смерти гражданки СССР. Гроб с грохотом полетел в преисподнюю крематория. Шторки зашторились. Братья и сестры! Нет, не слепой случай, а человеческое сознание свело нас сегодня сюда, в юдоль несравненной печали. Не это ли доказательство безграничных возможностей нашего разума, ставшего повелителем самой неумолимой и разрушительной силы?

Я поклонился им всем до земли. В меня полетели цветы и апплодисменты. Я машинально подбираю, машу и, сунув цветы под мышку,

яростно аплодирую в ответ. Но в дверях уже протестуют: ваше время истекло, начинается новый тур. До новых, друзья мои, встреч!

С охапкой роз выхожу на простор, загроможденный сентябрьскими катафалками.

Светлая тень робко отделяется от автобуса.

— Здравствуй,— слегка шепелявит она, мило волнуясь.— Это — я. Поздравляю с премьерой.

— Как ты похорошела! — невольно вырывается у меня. Она, довольная, смеется.

— Вот видишь,— щурюсь я.— Я все сделал правильно.— И дарю ей цветы, и веду ее за руку к белому автомобилю.— Ну что ж, с воскрешением!

Мы целуемся у всех на глазах. Плевать. Едем за город! Мы будем гулять по осеннему лесу, мы выйдем на берег Москвы-реки, мы сбросим одежды и, голые, задрав хвост, будем плескаться в студеной воде, мы далеко заплывем, мы разведем костер, мы будем пить водку...— И я стану, наконец-то твоей.— Да,— говорю.— А зачем ты ее так сильно искалечил? — Не знаю,— говорю,— захотелось. Она понимающе кивает головой.— А как же дворик? — говорит, нюхая мою щеку: — Английский? — Ага... А с двориком — все,— говорю.— Дворик — на <...>. Прошли времена.— А будешь еще убивать? — Откуда я знаю? — смеюсь.— Поживем — увидим.

Мы несемся по Окружной дороге. Шумят леса. И все хорошо. Сталин прав. Горький прав. Все мы правы. Человек звучит гордо. Любовь побеждает смерть.

*Май 1986*

## БЕРДЯЕВ

В овраге лаяли собаки, почуя свободу. Их свора кружила петлями. Собачники, собравшись в кучу, крутили в руках поводки, курили, хлопали в рукавицы. Остерегаясь осатаневших на выгуле псов, я взял влево, минуя овраг, и заплутал в темноте. Пока я месил снег по закоулкам заиндевевшей рощи, меня охватили сомнения, мне грезились сумрачные картины, я две недели простоял посреди квартиры в распахнутом шлафроке, простирая вверх руки, под вой полнотелой жены Доротеи и угрюмые взоры моих белокурых детей, похожий на турка, разоружившегося до безумного страха и наготы, браня себя за свою малодушную слабость к демисезонному гению Круглицкого, в чьем голосе звучали такие дружеские обертоны, что я не выдержал и тотчас согласился, несмотря на то, что на исходе моей двухлетней болезни, накануне (как мне мерещилось) выздоровления, мне надобно было соблюдать осторожность: я затаился, какмышь, ушел с головою в частную жизнь, стал совсем бирюком.

Круглицкий передал трубку незнакомой мне хозяйке, устроительнице широкой масленицы, и та взялась столь многословно и нехудоженственно описывать дорогу к дому, расположенному от моего на расстоянии всего лишь утреннего моциона, что я заподозрил ее в топографическом кретинизме и, увы, не ошибся. Она мне сразу не понравилась, эта Наталья, и мнения о ней я не переменял позже, когда познакомился и увидел ее призывные, вывернутые наизнанку губы, напоминающие полковую трубу, худосочную задницу, в которую впился вельвет, ее манеру танцевать соло, перед своим отражением в темном окне, когда услышал, как из нее со строгой регулярностью и женским шиком вылетают ядренные словечки, которые она наловчилась произносить таким очаровательным образом, что они выглядели, как оципанная дичь. Лишенные пуха и перьев, они производили скорее всего гастрономическое впечатление, во всяком случае, не пахли скотным двором, однако в их оципанности заключалась какая-то особая неприличность, свойственная виду целиком зажаренного курченка. К этому добавьте, что вместо трепета перед ее фамильной принадлежностью я ощутил смутное раздражение, ибо в деятельности ее давно позабытого, однако, как выясни-

лось, еще живого отца мне неизменно виделась не забота о пользе отечества, а спесь зарвавшегося фаворита. Помню, как в детстве я созерцал его однажды в родительском доме, за праздничным столом, по правую руку от моей матушки, молодой декольтированной именинницы, помню, как прожорливо ел он руками лакомые куски индейки и поминутно брался за фужер, оставляя на нем виноградины своей дактилоскопии и отпечатки губ, доставшихся Наталье, как, оттянув мизинцем рот, он сладострастно ковырял зубочисткой в отдаленных зубах, словно наводил порядок в отдаленных губерниях, а позже, отяжелев, задремал над десертом. Матушка моя заступилась за него перед онемевшими гостями, объясняя его похрапывание государственной значимостью дел, и я вспоминаю также, как всего через полгода, когда он был уже полностью похерен, матушка сильно негодовала, повествуя про его обжорство и храп...

Это воспоминание вертелось у меня на языке, когда Наталья уверяла нас с Круглицким в том, что ее отец ВСЕ ПОНИМАЕТ и что постигшая его немилость явилась началом наших общих тревог, причем Круглицкий с важным видом кивал головой, но я промолчал, больше того: я тоже кивнул за компанию, будто сочувствовал поверженному вельможе, прослывшему за буйность затей реформатором. Бог с ней, с Натальей, мне не жалко было и кивнуть, в конце концов мое разбитое корыто ничем не лучше ее, а, кроме того, я вовсе не исключаю возможности, что к ПОСЛЕДУЮЩИМ СОБЫТИЯМ она не имела прямого отношения, хотя как хозяйка... не знаю... как знать?!

Моя подозрительность издавна знала границы, хотя бы приближительные границы. Я посмеивался над несчастными дураками, которые видели во всяком подгулявшем мещанине, попросившем у них на улице прикурить, угрозу и предостережение. Я посмеивался; я ограничивал сферу ваших угроз лишь неотложными делами; истории о ваших посланцах, приветах, отравленных папиросах, недремлющем оке и прочие шехерезады встречались мною с недоверием; если не сказать в штыки, ибо, Ваше Сиятельство, моя память не была вашей союзницей точно так же, как не была она союзницей реформатора. Мне не пристало творить миф на основании вашей особы по причине хотя бы семейной хроники. Должен заметить, что моя матушка, у которой в этом исключительном случае женское чувство с неизменной ретивостью торжествовало над табелью о рангах, зачастую пренебрежительно отзывалась о вас, несостоявшемся женихе, о вашем чопорном волокитстве, выспренных сердечных записочках, полных орфографических ошибок и неуместных галлицизмов, о вашей амурной коллекции, в которой (до недавнего, во всяком случае, времени) хранились ее заколки и тщательно разглаженные фантики от скушанных ею конфет, подобранные вами украдкой на балах. Вы были, разумеется, престижной и выгодной партией, но бабушка нашла, что вы слишком молоды и вам не хватает «финесс». Потом, когда вы сошлись с отцом и ласково трепали меня по затылку, наведываясь

вы сошлись с отцом и ласково трепали меня по затылку, наведываясь в наш дом на правах друга, мне довелось не раз слышать (и это тоже шло не на пользу мифу), как вы недовольны своими ангелами, как, напустив на себя шутливо-брезгливый вид, вы бранились, описывая этих лентяев и олухов, как напряженно хохотал мой отец, внимая вашей конфиденциальной болтовне...

Но с тех пор, как, воспылав гневом, вы утратили телесную оболочку, многое изменилось. Два года назойливых диалогов не прошли даром. Два года я вел с вами, граф, непрекращающуюся беседу, два года, стоило мне прикрыть глаза, лечь на диван, отойти к окну, как казенный Юпитер нисходил ко мне сухим словесным дождем, и, замерев с ложкой щей на весу, с намыленной головой или на лыжной прогулке, я снова и снова усаживался напротив вас, и собеседники пускались в разговор, который чем дальше, тем больше превращался в состязание по мастерству отвлечься от собственной сущности. Виртуозы, мы устанавливали рекорды, мы отвлекались до такой степени, что превращались в аллегорические фарфоровые фигурки животных из басен дедушки Крылова, о склонности которого к обжорству, как вам, должно быть, известно, также шла речь за столом в ту широкую масленицу, куда я попал, проплутав по роще, с непредвиденным опозданием, так что, когда я вошел в дом, Круглицкий уже тревожился о моей судьбе, ел блины с красной рыбой и хлестал водку. Пиршество было в разгаре. Мы с Круглицким шумно обрадовались встрече и трижды облобызались как старые товарищи. Немногочисленное общество с почтением отнеслось к нашим поцелуям, и некоторое время они хранили меня, как охранная грамота. Наталья, пряткая хозяйка, немедля наложила мне гору блинов, Круглицкий плеснул от души штрафную порцию водки, и, чокнувшись со свиданьем, мы разом запрокинули головы, и Наталья на выходе выкрикнула: — <...> сила!

Наши беседы протекали разнообразно: то вы бывали любезны и оказывали мне всяческие знаки внимания, вплоть до того, что однажды поднесли горящую спичку, когда я вынул сигарету, и я рассыпался в благодарностях, то дело вдруг начинало «пахнуть Сибирью», если принять во внимание Розанова, которого Юлия, это меня не удивляет, ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛА (ах ты, моя птичка!); ветер менялся, и ваше лицо, потемнев, приобретало скупой аскетический вид; я нервничал, я завирался, юлил, — но буря волшебным образом удалялась, и вновь, почти дружески, мы принимались обсуждать глобальные вопросы жизнеустройства. Тогда, жмурясь от сладкой надежды, восхваляя ваше милосердие и снисходительность, нетвердым голосом друга порядка я вас увещевал, что косметические, дескать, поправки нужны не для нарушения статус-кво, которому, поверьте, я нераздельно принадлежу, а во имя, поверьте, патриотических соображений, и мне казалось, что в вашем молодежавшем лице я на мгновение угадывал нечто, похожее на колебание или даже сочувствие. Воодушевленный этим знакомством, я давал волю моей элоквенции, увлекался и понемножку нагледел... А вы смотрели угасшим

взглядом, вы осаживали меня и давай распекать, как юнца, за неразборчивость моих знакомств, за каких-то сомнительных полячков, жидов, мажяров, зачавших ко мне в прошлом месяце.

Я столько душевных сил отдал этому диалогу, что порою начинал роптать на себя, на вас, на ВСЕ: Господи, роптал я, НА ЧТО уходят лучшие годы моей жизни?! — и мне хотелось стремглав броситься из дому, где Доротея вконец извелась от моего хронического молчания и по всякому поводу и без повода испускала свое излюбленное шипение: чччерт!... Я бежал от своих белокурых двойняшек, бежал через город в родительские апартаменты, в обстановку сгущающегося испуга и увядания, чтобы, вломившись в спальню, с порога прокричать моей постаревшей, занедужевшей маме: — Мама! Ну, и угораздило же тебя, мама, родить меня, мама... ну, и так далее... весь этот зареванный плагиат, которым вы, разумеется, не преминули, не без ехидства, меня попрекнуть, намекнув на нескромность, в наш последующий разговор, и я согласился: сравнение негодное, но что же делать, коли Провидение пускает нас всех, от мала до велика («отвечайте за себя!»), хорошо, то есть меня, кружить, как заводной паровозик детской железной дороги, по кругу, по кругу, по кругу!...

Но как тут выкрикнешь, вымолвишь — на пороге родительской спальни, в обстановке сгущающегося испуга и увядания — когда мама, заметя меня сквозь очки, приспособленные для чтения французских романов, отложит поспешно книгу и, чувствуя мое волнение, поспешно спросит: — ОПЯТЬ что-то случилось? — Мэ рьен, — как можно более беззаботно отвечу я, — мэ рьен дю ту!... Скоро масленица, мама!... — И мама скажет: — Зачем связался ты с рванью и шушерой? Зачем нужны тебе всякие эти круглицики? И вы, граф, поддакните из-за кулис: В самом деле, зачем? — Ну, как не поддакнуть? У вас на Круглицкого зуб. Всем памяты его гениальные строки, которые кружили в многочисленных списках:

**ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО! КАК ВАМ СИЯЕТСЯ?**

**КАК ВАМ СМЕРКАЕТСЯ, ВАШЕ СМЕРКАТЕЛЬСТВО?**

Официозный пародист, некая мразь, вроде Нестора Кукольника, пытался ослабить впечатление апокалиптического заката, превратить все в шуточку. Он написал игривую вещицу:

**КАК ВАМ СМОРКАЕТСЯ, ВАШЕ СМОРКАТЕЛЬСТВО?**

Но общество не удалось обьегорить. Списки кружили. Скоро все повторяли:

**ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО! КАК ВАМ СИЯЕТСЯ?...**

Круглицкий имел неприятности. Его потянули. — Мы вам не позволим разгуливать в непризнанных гениях! — Сделайте меня признанным! — нашелся Круглицкий. Я поджидал его на крылечке. Все это он сочинил позже, но все равно остроумно.

— А Филонов был тогда на крылечке, — указал на меня Круглицкий. Барышни мне завидовали. Передо мною проплыло белое, мокрое

лицо Круглицкого, бессмысленный взор, и я сказал: — Выпьем! — И мы выпили, и стали просить Круглицкого почитать.

— Круглицкий, пожалуйста!... — просили барышни.

Он не стал ломаться, сказал, что прочтает ОДНО, потому что больше не хочет, а это посвящено масленице. Барышни закричали: — Как же! как же! — и Юлия, забегаая вперед, произнесла:

### МЫ ЗАПАСЛИСЬ МУКОЮ И ТЕРПЕНЬЕМ...

— Ну, вот, сама и читай, — сказал Круглицкий. Все запротестовали, и Юлия — первая, прикусив язычок. На ней было красивое муаровое платье, достаточно широкое и длинное для того, чтоб сидеть, беззаботно раздвинув колени, как это нынче принято среди парижанок, обожающих расслабляться. Но в отличие от парижанок, Юлия не только не расслаблялась, а, напротив, все время ерзала, не находила места ни рукам, ни ногам, отчего ее платье по-особому шелестело, и на щеках горели пунцовые пятна.

Испитой апостольский лик Круглицкого озарился умилением — он стал читать... Наизусть не помню, номер квартиры тоже позабыл, но смысл доношу до вашего сведения, не расплескав и с попутными комментариями, влекомый его волшебной тлетворностью.

Мы запаслись мукою (с ударением на о, но нарек несомненен) и терпением (это уже прямо). Даже янтарную семгу и то раздобыли! (намек на снабжение). На исходе зимы, когда, дескать, плечи устали от обузы шуб, сохранивших в холодах наше убогое тепло (при обсуждении стихотворения хозяин дома, с модной бородкой, по имени Леша, во всем остальном оставшийся для меня полнойшей энигмой, выразил удивление, почему, мол, тепло убогое? Барышни брались ему доказать, почему, но он, удрученный, повторял, что тепло НЕ убогое, что это чуть ли даже не оскорбление НАШЕМУ ДВИЖЕНИЮ и так, товарищи, нельзя. Круглицкий, вместо всякого комментария, с удовольствием съел блин и потребовал от хозяина завести любимую пластинку его молодости «Падает снег», на чем дискуссия завершилась), итак, когда плечи устали от обузы шуб, сохранивших в холода наше убогое тепло, уберечь нас от происков инфлюэнций, когда шея в последний раз сгорает в шерстяных объятиях, когда свитера светятся на локтях, а носовые платки слипшимися комочками лежат во всех карманах (этот антиэстетический элемент составляет одну из особенностей поэзии Круглицкого и иногда выражен гораздо сильнее, иногда чересчур резко, но здесь он мне нравится), итак, когда... когда... тогда, друзья мои, как хороши блины! Их кружево (или их кружева, не помню точно) достойно возлияний!

Вслед за этим смысл стихотворения все больше приобретает аллюзивный характер и сводится к тому, что как бы ни растягивались сроки, какими бы ничтожными ни были наши шансы на выигрыш, как бы нам вообще ни опостылел этот ипподром и это низкое небо, нахлобученное



нам на глаза, словно шапка, и эти безутешные бега, где на какую лошадь ни поставь (сбиваюсь, чувствую, на стихотворный ритм) — она споткнется: кот в мешке и тот бежит проворней — все это так, но так ли это или иначе, календари не врут, на пороге март: он обещает ростепель и перемену.

Стихотворение содержит убеждение поэта в том, что перемены коснутся всего, только не чувства любимой к поэту, и завершается очень изящной лирической концовкой: они вместе стоят и смотрят, как текут ручьи и лопаются почки.

— <...> сила! — прошептала потрясенная хозяйка Наталья. — «И кот в мешке бежит проворней...», — процитировал я. — Удивительная строка!

— Как будто только одна строка! — огрызнулась Юлия.

Как правило, я готов пожертвовать истиной ради соблюдения светских приличий, но, понимая, что в данном обществе светское приличие состоит в его нарушении, я оставил в стороне светские ухватки и легкомысленно разоблачился в последующем суждении: я сказал, что аллегорическая часть сочинения мне показала с меньше, потому что слишком затянулись сроки, то есть они настолько затянулись, что когда начнется ростепель, потекут ручьи и лопнут почки, то на это замечательное явление природы будут взирать не молодой поэт и его пламенная подруга, а совершенно выжившие из ума старик и старуха, с клоками, редкими волосьями и пигментными кляксами на лице и руках, если не сказать — два скелета, две мощи, так что, заключил я, хитрость метеорологических аллюзий сводится к нулю, раздавленная сроком ожидания.

Круглицкий издал неопределенное восклицание. Все три барышни смотрели на меня, насупившись. Тогда хозяин с бородкой по имени Леша высказался в том смысле, что тепло не убогое и как понять образ шуб, на что Круглицкий сказал, что ему хочется послушать граммофонную пластинку, где «Падает снег»... Он пригласил свою даму, молчаливую барышню с **ОЧЕНЬ ОГРОМНЫМ ЛБОМ**, я никогда прежде не видел барышни с таким лбом, и повел ее танцевать, а хозяйка посмотрела им вслед и сказала:

— <...> сила!

А Юлия сказала:

— Я люблю, когда Круглицкий сентиментален. Это ему идет.

А я ничего не сказал. Я откусил сухой блин и промолчал. Я подумал, не уйти ли домой, но тут Круглицкий кончил танцевать, присел ко мне, и мы завели с ним сепаратистский разговор о наших прежних товарищах и подругах, и мы порадовались, что наши мнения часто совпадают, и гоготали до неприличия, если удавалось сказать что-нибудь колкое. Когда я заметил, что у Федора, вследствие пьянства, голова стала «троить», Круглицкий загоготал так оглушительно, что молодая хозяйка, танцующая соло перед своим отражением в темном окне, сочла, что это над ней, и прекратила танец. Юлия, упершись пунцовой щекою в кулак, ку-

рила и делала вид, что ее ничего не касается, но тут она тоже не выдержала и спросила, над кем это мы.

— Над Федором, — охотно откликнулся пьяноватый Круглицкий.

— Что в нем смешного? — резко спросила Юлия.

— Он находит, — сказал Круглицкий, кивнув на меня, — что у Федора голова «троит».

— Что это значит — «троит»? — спросила Юлия, принципиально обращаясь не ко мне, а к Круглицкому.

— Пусть он тебе сам объяснит, — сказал Круглицкий, по-моему смутно представлявший себе, что это значит.

— Это значит, — сказал я, обращаясь к барышне, — это значит, барышня, ну, как бы вам объяснить? Вы знакомы с устройством двигателя внутреннего сгорания?

— Я не понимаю, — взволнованно сказала Юлия, — какое отношение имеет Федор к двигателю внутреннего сгорания! Вы говорите о нем, словно как не о живом человеке!

— Да вы не горячитесь! — воскликнул я. — Уверю вас, что я отношусь к Федору, во всяком случае, не хуже, чем вы.

Тут Круглицкий наклонился ко мне и, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, стал горячо и неразборчиво шептать мне в ухо, что, дескать, х у ж е, поскольку Юлия была федоровской любовницей в течение года, и Юлия, конечно, поняла, что он мне шепчет, и сделалась совершенно пунцовой. Дабы сменить тему, я спросил у Круглицкого, что случилось с Мишелем, приязню коего он весьма дорожил. — Как, ты не знаешь?! — Нет! — встревожился я... Круглицкий сообщил печальную весть. — Твою мать! — непроизвольно вырвалось у меня. — Когда?! — Да ты что? — вылупил глаза Круглицкий. — На каком свете ты живешь? Этой новости сто лет! — Это Марья Николаевна отомстила! — выкрикнула Юлия. — Это она! — Да, ну! — усомнился Круглицкий. — Откуда ты знаешь? — А вот и знаю! — шумела Юлия. — Она хотела ему отжаться, а он с испугу послал ее подальше... — Пойдите. Какая Марья Николаевна? — спросил я. — Ну, эта! — сказал Круглицкий и ткнул в потолок. — Ах, эта... — сообразил я. — А я бы, — блеснул глазами Круглицкий, — на месте Мишеля отоварил бы ее разок, а потом хоть в рудники! — Может ли трус быть хорошим поэтом? — риторически отозвалась Юлия. — Может! — развязно утверждал я. — Вы считаете, что Мишель был хороший поэт? — Как вам сказать? — я покосился на Круглицкого, но тот, подлец, сохранял нейтралитет. — По-моему, он был относительно хороший поэт. — Относительно чего? — спросила Юлия. — Относительно Байрона? — Круглицкий захохотал. — А самую лучшую строчку он все равно слямзил у Бестужева! — фыркнула Юлия. — В нем так и осталась эта шотландская накипь, — рассердился Круглицкий, — этот шотландский перегар дешевого виски. — Он помрачнел и добавил: — Жаль его.

От Юлии, как от трамвайной дуги, летели во все стороны искры. Разговор, как водится, зашел о Кюстине. Я позволил себе несколько критических замечаний. Юлия высмеяла меня как красного славянофила. Юлия набросилась на Розанова, потому что тот ничего не понял в Христе. Мы сцепились с ней, но не потому, что Розанов ничего не понял в Христе, а по поводу равенства. Юлия кричала, что все люди равны, а стало быть, нужна конституция и республика. Я сказал, что конституция, должно быть, необходима, но что до республики народ, пожалуй, еще не созрел. — Как? Вы не верите в народ? — негодовала Юлия. — Народ — не икона, — отвечивал я. — На него нечего молиться. — Ну, это ты зря! — рассудил Круглицкий. — Я молюсь на народ! — Bravo! Bravo! — крикнула Юлия. Хозяйка тоже приняла участие в споре, очень горячилась и все повторяла: — Бедный народ! Бедный! Бедный! — Поставь еще раз «Падают снег», — обратился Круглицкий к Леше и снова пошел танцевать с лобастой. — Когда, наконец, сделают реформу орфографии? — негодовала Юлия, обращаясь к хозяйке. — Как надоело все эти «яи» да «еры»! — И уж тем более «ижицы»! — подхватила Наталья. — А мне нравятся «ижицы»! — икнул, танцуя, Круглицкий. — Правда, клевая буква? — спросил он меня. — Мне вообще все буквы нравятся, — сказал я шутливо. — Приспособленец! — крикнула мне Юлия. — А вы, — бросил я ей в ответ, — начитались грошовых брошюр европейского к о м м у н и з м а и думаете, что познали истину!

— Да! — надменно сказала мне Юлия. — Представьте себе, я — коммунистка! — Настоящие коммунистки, — взорвался я, — не пьют шампанских вин и не жрут шоколадных конфет! — Много вы знаете! — крикнула Юлия. — Это не запрещено Эрфуртской программой! — Она демонстративно осушила бокал шампанского и сказала презрительно: — Стукач! — Только без личностей! — всполошился хозяин дома по имени Леша. — Я вас попрошу, товарищи... без личностей! — Он мне не товарищ! — воскликнула Юлия. — Перестань! — заступился за меня Круглицкий. — У него тоже были неприятности. — Замолчи! — крикнул я. — Его чуть было не сослали в Вологду! — добавил Круглицкий. — Да ведь не сослали! — захохотала Юлия с совершенно пунцовыми щеками... — Ты помнишь, Круглицкий, как мы ездили в Вологду? — Федор фотографии сделал, — сказал Круглицкий, — как мы пикничовали. На одной у тебя трусики видны. — Он захохотал и налил себе рому. Его окурок упал на инкрустированный столик и прожег инкрустацию. Наталья побледнела, но не проронила ни слова. — Подумаешь! — сказала Юлия. — Мне нечего стесняться. У меня красивые ноги. — А трусики еще красивее! — не унимался Круглицкий. — Американские! — хихикнула Юлия. — Слышали? — спросил Круглицкий. — Бердяева тоже в Вологду сослали. — Говна пирога! — отрезала барышня с ОЧЕНЬ ОГРОМНЫМ ЛБОМ. — Он тоже против равенства, — ликовала Юлия. — Может быть, он и тоже, — сказал я, — но я не люблю Бердяева! — Не любите? — живы откликнулась Юлия и посмотрела на меня с неожиданным дружелюби-

ем, будто сразу мне все простила. — Он вообще парень неплохой, — заверил ее Круглицкий заплетаящимся языком. — А говеть вы будете в пост? — весело спросила меня Юлия. Я струсил и не знал, что ответить. Я так и ответил: — Не знаю... — Она захохотала с подфыркиванием. — Ты бы ее лучше танцевать пригласил. Ей танцевать хочется, — сводничал Круглицкий. — Глупости! — крикнула Юлия. — Только попробуйте! Я вам откажу! Как же это вы не знаете? — вернулась она к говению. — Я равнодушен к обрядам, — объявил я. — Однако в Пасху охотно ем кулич, на Рождество — гусятину... Но когда религия обращается против потребностей моего желудка... — Какая несносная пошлость! Прекратите немедленно! — Все посмотрели на меня с осуждением.

Я понял, что дал маху, не вписался в религиозный контекст, и заторопился домой. Круглицкий тоже надумал ехать. — Ты ведь ночуешь у нас! — с обидой вскричала дочь реформатора. — Нет-нет. Я еду! — Он порывался встать. — Куда? — ласково спросила лобастая приятельница. — Я вообще еду! — возвестил Круглицкий. Все замолкли, сраженные новостью. — Не спеши! — осторожно посоветовал я ему. — Хочу на свежий воздух! — зарычал Круглицкий. — Я блинов переел! — Он стал напирать свой овечий тулуп. — Ты похож на Пугачева, — заметил я. — Милый! — растрогался Круглицкий. — Только ты один меня понимаешь. — Он обнял меня и спросил: — Ну, как ты поживаешь? — Моя опала, кажется, о п а л а, — шепнул я ему.

Для революционеров мы все были одеты богато.

На улице Круглицкий совершенно ошалел от свежего воздуха: стал задыхаться, кашлять и часто рыгал. Лобастая, недолго думая, схватила его под руку и поволокла обратно в подъезд. — Он, наверное, скоро умрет, — сказала Юлия со слезами на глазах. — Он живет на разрыв аорты. — По-моему, — сочувственно кивнул я, — ему захотелось блевать. — Он скоро умрет, — настойчиво, не слушая меня, повторяла Юлия. — Мы все скоро умрем, — сказал я. — Нет! — сказала Юлия со злобой. — Вы-то долго протянете, вы еще долго будете коптить небо, как головешка!

Несмотря на обиду и идейные разногласия, мы вошли в рощу. Под ногами хрустела корка подтаявшего днем снега. Юлия шла впереди, по узкой тропинке, вытоптанной за долгую зиму. Воздух был особенный: хотя и холодный, и колючий, но обволакивающая лицо влажность (казалось, пройдя через рощу, мы выйдем не в город, а на море, к серым балтийским волнам) смягчала его, обещала весну. — За что вы меня невзлюбили, Юлия? — Не отвечая, она продолжала идти, но через несколько шагов так внезапно остановилась, что я чуть было не налетел на нее: — А вы думаете, что всем должны нравиться? — И, не ожидая ответа, пошла дальше. «Это ты думаешь, что всем нравишься, — бормотал я, поспешая за ней. — Красивые ноги! Ноги как ноги. Видали и лучше. Или думаешь, что тебе идет твоя челка? Дрянь челка! Челка тебе придает глупый, ка-

кой-то песий вид! А то, что ты была любовницей опустившегося, спившегося Федора, тоже чести тебе не делает. Небось сама ему ставила? Эх, ты, Марья Иванна!..»

Безлюдный проспект. Здесь, как всегда, ветер. — Не люблю я эти новые районы, — поморщилась она. — А вы где живете? — В Кунцево. — Тоже мне старый район! — Конечно, старый! — Не знаю, — я пожал плечами, — не нравится мне ваше Кунцево. И никто вас туда не повезет. — Посмотрим! — сказала она с вызовом. Мы стали ловить и **смотреть**. Машины изредка останавливались, но никто не хотел ехать в Кунцево. Несмотря на ветер, меня согревало странное злорадство. — Ну, чего вы стоите? — сказала она, хлопнув дверцей очередной машины. — Идите! Идите! Прощайте! — Не беспокойтесь, — мрачно ответил я, кутаясь в шарф. — Какой у вас, однако, красивый шарф! — сказала Юлия. Я сделал движение, которое она поспешила превратно истолковать. — Вы что? Этого не хватало! Нет уж! Нет уж! Я знаю ваш тип! От скуки решили побаловаться революцией, поиграть в благородные чувства — но обожгли себе пальчики и заскулили... — Бог с вами! Какой я революционер! Вид взбунтовавшегося мужика мне отвратителен, а что до матерьялизма, то он пахнет колбасой с чесноком... — С вами все ясно, — прищурилась Юлия. — После революции мы вас повесим вон на этом фонаре. Будете дрыгать ножками. — Она подняла голову и осмотрела фонарь. — Сделайте милость! — Но она не слышала меня, бежала к машине, мило улыбалась, щебетала, торговалась и — разочарованно хлопнула дверцей. — Не желают, видите ли... — сказала она, кривя рот. — Отчего вы такая кровожадная? — Я не кровожадная! Но вас бы с удовольствием повесили. И так бы повесили, чтобы вы еще помучались перед смертью! — Я не выдержал и расхохотался. — Вот что, — предложил я, хохоча, — покуда вы меня не повесили, давайте я сам отвезу вас в ваше Кунцево!

Не буду описывать того, как глумилась она над моим предложением и как с еще большей страстью махала рукой, бросаясь под каждую машину. Мне интересно, граф, что бы вышло, если кто-либо взялся везти ее в Кунцево. Неужели исключено? Неужели и этот элемент был заранее согласован и отрепетирован? Да что же это за операция во вселенском масштабе! — Уж не кокетничать ли вы со мной принимались? — сухо спросила она. — На этот счет будьте покойны, — столь же сухо ответил я.

Мой дом в пяти минутах ходьбы. Мы шли быстро и молча, как посторонние люди, пока она вдруг не заметила: — Я поняла, почему вы не любите Бердяева. Так копия, список не любит своего оригинала. — Готов опровергнуть ваше мнение, — сказал я, — но вы сочтете, что мною говорит оскорбленное самолюбие. Впрочем, думайте, как хотите! Бердяев во главу угла своей философии ставит понятие свободы. Оно у него выше понятия Господа Бога! Свобода, согласитесь, Юлия, есть привилегия сильной личности. Я же во главу угла поставил бы слабость — я испове-

дуку ФИЛОСОФИЮ СЛАБОСТИ, однако у меня нет ни малейшей амбиции ее популяризировать. — И слава Богу! — сказала Юлия. — Иначе бы вышла одна из самых гнусных разновидностей реакционной философии. — Мы подошли к дому. Мой призывно-красный, заляпанный грязью последней оттепели автомобиль стыл на ветру. — Ах! ах! — разахался я, шаря по карманам. Я объяснил, что ключи от машины лежат у меня в квартире. — Я здесь подожду, — отозвалась Юлия. — Помилуйте! Вы и так продрогли на ветру... — Не в моих правилах тревожить в третьем часу ночи покой совершенно чужой мне семьи, — с гонором заявила Юлия. Настал деликатный момент. Жена моя Доротея вместе с обеими белокурыми девочками заночевала в гостях у тещи. Сказать, что ОНИ дома или что их нет, — одинаковая лажа. По дороге, от фонаря до Бердяева, я был занят этой задачей, но реплика Юлии отвлекла меня. — Впрочем, вот что... — она замялась, но продолжала без робости: — Вы не позволите мне воспользоваться вашим сортиром? — Что за вопрос! — вскричал я, внутренне ликуя и славословя нигилизм, предоставивший ей уникальную возможность столь дерзко заявить о своей нужде. — Ну, разумеется, ради Бога!

Зеркальный ассансер плавно поднял нас на этаж.

Включив свет в передней, я приложил палец к губам и, намекая на семью, промолвил: тсссссс! — Юлия сбросила шубку мне на руки и, взглянув на меня с некоторым недоумением (будто ей было известно, что, кроме нас, никого нет!), на цыпочках, стараясь не задеть каблуком о паркет, направилась в туалет, который она на революционный манер назвала сортиром. Вы знаете, граф, в эту минуту она была недурна собой, ей-ей, недурна, хотя не думайте, что я был очень уж очарован. Признаться, пока она кралась по коридору, я даже не знал, что с ней дальше делать. Вы, верно, спросите, по какому такому капризу я принудил ее к променаду на цыпочках. Объясню. Я заботился о ее комфорте, я не хотел, чтобы она стала нервничать прямо с порога и, справляя нужду, лихорадочно составлять план бегства. Не дай Бог, ей пришлось бы в голову забаррикадироваться! Я в некотором роде гуманист, граф, да, в некотором роде!..

Как только защелкнулась за ней дверь, меня не стало, вместо меня в передней стояло большое трепетное, словно лист банановой пальмы, УХО, не проронившее ни единого звука, донесшегося оттуда. Я слышал как шелестнуло ее платье, подброшенное вверх безотчетным, как морганные ресниц, пленительным движением, я слышал, как пискнул о кафель каблук, ища равновесие телу, подавшемуся вперед, и я почувствовал — вплоть до мурашек — холодок стульчака, к которому чуть-чуть прилипает тесто плоти, и я у в и д е л, как, опершись скулами о ладони, она прижала пальцы к вискам (сверкнул дешевенький сапфир), и взгляд ее устремился не по какому-то неписаному шаблону блуждать с бессмысленной сосредоточенностью по вишневым кафельным крапинкам, выискивая и вырисовывая несуществующие узоры, а, вместо того, взле-

тел сквозь челку к лампочке на стене — лампочке, запачканной в прошлый ремонт белилами, все руки не доходят, чтобы протереть, так и останется, перегорит непротертой... — и вот тугая нетерпеливая струя ударила в презренный фаянс и долго-долго била в одну точку пока

не  
ста  
ла  
из  
не  
мо  
га

ть...изнемогла — воспряла — и совсем изнемогла, как умирающий лебедь; последние капли упали безвольными брызгами в воду, и этому иссякновению сопутствовал робкий и дивный звук, вызвавший у меня положительно приступ головокружения!...

Но будет! будет! довольно! Как вам, граф, бюстителю и человеку государственной идеи, объяснить романтические нюансы натуральной школы? Ах, в лучшем случае вы брезгливо поморщитесь!.. И только, может быть, какой-нибудь дошлый немец, на новом счастливом витке, пробегая мыльными глазами бумаги вверенной вам канцелярии, наткнется на мои укромные восторги и столь же укромно разделит их и, сокрушенно качая головой над вашими маргинальными пометками: — Маньяк! Психопат! Перверсия! — удивится душевной тупости старорежимных времен.

Короче, я получал истинное наслаждение, глядя, как она, все тем же макаром, крадется на цыпочках по коридору назад, навстречу мне, за ней бушуют воды и стонут трубы, — и это безмерно удручает ее, нарушительницу ночного покоя (будто она не знала, что — одни!); короче, я поджидал ее в страшном волнении, в припадке головокружения, с шумящей кровью в висках, пока она кралась по коридору навстречу мне, а я все держу ее шубку в руках, и с милой гримасой она говорит: — Я готова. — Ах, эта струя! Она уберегла меня от проволочек, чаепитий, разглагольствований о судьбах поэзии. Она придала мне решимость. — К чему ты готова? — спросил я насмешливо.

Муаровое платье сбилось. Она попыталась привстать, но я придавил ей пальцы тяжелым ботинком. Я стоял над нею, в пальто и шапке, и шарф свисал до колен. — Как вы посмели? — зашипела она. — Вонючая тварь! Похотливая сучка — говорил я. — Я вас ненавижу! Я заявлю в полицию! — Тебя нужно драть, как сидорову козу! — говорил я. — Вы же против насилия... — лепетала Юлия. На лице у нее выступали следы пятерни. Как сосиски. Я наклонился к Юлии и впился в алый рот. Каково? И что бы вы думали, генерал? Укусила? Стиснула зубы? Забилась в падучей? — С жаром необыкновенным она обхватила мою шею руками.

Можно было торжествовать викторию. Дальнейшее, казалось, будет неинтересно.

Она отдышалась, сняла сапоги и прочее. Я принес Юлии воды, и мы разговорились. У нее все было, как полагается: балзаковский возраст, нелюбимый и, разумеется, неталантливый муж, не разделяющий ее взглядов, не любитель ни музыки, ни революции, ни поэзии: — Представляешь, он даже не знает, кто такой Круглицкий! — Она была в самом начале агонии, которой еще бушевать лет двадцать, горя на щеках ознобом, истерикой, лихорадкой, выматывая несчастную бабу тоскою по горсточке люминала, выдавливая из нее, капля за каплей, все силы и жалкие женские слабости, покуда она не завянет, не почернеет, не отдаст концы как женщина — и черненькая сухонькая старушка легкой поступью войдет в Божий храм, чтобы замаливать грехи надувной куклы с иступленным вопросом: как можно так жить? как? как? — да! да! — говорил я, — не знаю... — этот буржуазный мир! эта сытость! эта тупость! эта трусость! — да! да! — говорил я, — как жить? — это одичание! это пьянство! эта грязь! это хамство! — да! да! — говорил я, — жуткое свинство... — а девочка? что ее ждет? — у меня целых две! (она потянулась к сумочке за фотографией; я тоже похвастался двойняшками) — ах, что ИХ ждет? Зачем я родила? мужлан! чинуша! конторская крыса! разводиться? ха-ха! — горький смех, — а на что жить? на панель? проституция? власть денег, пауперизация пролетарята... — Я сокрушенно шелкал языком. Она пристально, с болью в лице, всмотрелась в меня: — У ТЕБЯ ТАЛАНТЛИВЫЕ ГЛАЗА! — Я смутился и сделал страшнейшую рожу, скосив глаза к переносице. Она даже не улыбнулась, — Я знаю, милый, я знаю: тебе тоже тяжело... — Ламца-дрица, гоп-ца-ца! — выкрикнул я, шлепая себя по ляжкам, и предложил: Юлечка, давай лучше трахнемся! — Юлия подумала, что мне *очень* тяжело, раз я прячусь за эти пошлые, кощунственные слова, и шепнула нежно: — Не надо так... — Я попросил у нее прощения. — Ты не виноват... — покачала она головой. — Да? А кто виноват? — СИСТЕМА. — Ах, да! — вспомнил я. — Ты ведь революционерка! — Но ведь ты тоже революционер! — Никакой я не революционер! — сказал я угрюмо. — Революционер! Революционер! Ты еще больше революционер, чем все остальные! Ты бросил вызов своему классу! — Она погладила меня по щеке: — Воображаю, как ОНИ тебя ненавидят! — я пожал голыми плечами и нехотя процедил: — **Взаимно.**

Как же радостно всплеснула она руками! Каким неподдельным было ее ликование! Она сорвала простыню и принялась осыпать меня поцелуями. — Взаимно! — кричала Юлия, целуя меня. — Взаимно! Взаимно! Взаимно!

Юлия кричала все громче и громче. Я спросил, уж не пишешь ли ты случайно стихов. Она закричала: да! да! Я обрадовался своей прозорливости и тоже закричал. Ты кричала, и я кричал. Мы громко и долго кричали. Я никак не мог перестать кричать, хотя Юлия очень старалась.



Она очень-очень старалась, но чем пуще она старалась, тем пуще была видна ее неискушенность. Я кричал, с удивлением думая о Федоре. Я думал, что он человек сведущий, а оказалось: ни фига подобного! Я подумал: ну, вот вам и Федор! А еще хвастался, алкоголик! Но тут она так закричала, что я позабыл про Федора и больше ни о чем не мог думать, кроме того, как бы только прекратить сей безобразный крик. Мы даже осипли; это был уже не крик, а осипшее твяканье, но мы все равно продолжали кричать что есть мочи, споря друг с другом и доказывая. Я кричал о том, что устал кричать, но что никак не могу остановиться, как заводной паровозик детской железной дороги, а она кричала о том, что мне пора остановиться кричать, бросить все к чертовой матери, проклясть суету и удалиться навстречу планетам моего гороскопа, и я понимающе кричал ей в ответ, и так мы докричались до того, что будем верны друг другу до гроба, и после гроба, в годину позорного тления, и далее, до Страшного суда, и после него, если нам позволят, тоже будем неразлучны. От дикого чувства вечности у меня все пошло фугой, и я закричал последним криком, обрушаясь и сливаясь в нерасчленимый андрогин, и вот тогда, когда я обрушился и слился с Юлией в нерасчленимый, философски непознаваемый, но мистически доступный андрогин, я почувствовал небритость родной щеки, словно я стал Юлией, а она стала мною, Филоновым, однофамильцем замечательного живописца, преданным кавалером по вечному танцу любви, она стала мною, а я стал Юлией: любимой девочкой моей сентиментальной бухгалтерии, сосудом страсти и смирения, — я почувствовал небритость родной, навсегда любимой щеки — и встrepенулcя. О, я твердо знал, что Юлия не принадлежит к лукавой породе бородатых женщин, которых за деньги показывают в балагане! У нее всегда была любимая мною абрикосовая спелость и нежность кожи. У нее была абрикосовая спина, и абрикосовые плечи, и очаровательные, какие случаются только в синематографе, абрикосовые щечки, по поводу коих я говорил:

— Душа моя, позволь я тебя съем! — и Юлия отвечала: — Ешь! Ешь меня, Филонов! — И мне ничего другого не оставалось, как есть ее и не спеша насыщаться. Ах, Боже мой! Никто еще на свете так страстно не любил кого-нибудь другого, как я любил Юлию! Я все в ней любил, решительно все: ум, абрикосовые щечки, душу — все! Я любил, когда, сев с ногами на диван, она читала мне свои неуклюжие, но в общем-то милые, очень милые стихи, я любил ее волнение, когда она получала отказы из разных редакций: — «Сударыня, — писал ей Короленко, — в Ваших сочинениях встречаются порою удачные и вполне гражданственные строки, как то: — И кот в мешке бежит проворней!... — но, Сударыня, пока что, в отношении мастерства, Вам далеко от графини Ростопчиной...» Он прав, — упавшим голосом говорила мне Юлия. — До Ростопчиной мне далеко... — Я, как мог, ее утешал, я ругал либеральных редакторов и направление толстых журналов, я целовал ее в тонкую, незащищенную шею и говорил, что Ростопчина по сравнению с ней — т р у -

х а, и что для меня ее стихи — лучшие в мире! Со счастливыми слезами благодарности она обнимала меня, и сердце мое переставало биться, когда я чувствовал нежнейший аромат ее волос; я любил, как она одевалась, любил ее походку, ее кроткий и ласковый голос, любил, любил, любил — у нее даже и дамских-то усиков не было, этих несмываемых усиков, с которыми дамы тщетно борются при помощи перекиси водорода — в ней все было прекрасно! — а тут, когда мы в миллионный раз слились с ней в нерасчленимый андрогин, я ощутил не только небри-тость щеки, но хуже! хуже! Я приподнял тяжелые непослушные веки: точно: усы! Я зажмурился и снова приподнял: усы! усы! — наваждение не рассеивалось. Я живо восстал на локтях.

Вы не поверите, граф, я был искренне озадачен: на подушке вместо моей дорогой Юлии я обнаружил вас, граф, в совершеннейшем неглиже! Растерзанный китель, сбившаяся батистовая сорочка, седоватая ку-щица волос на груди, панталоны, свисающие с одного сапога обесчещен-ным знамением... и я, **Филонов**, — погруженный, вляпавшийся черт знает в какое крем-брюле!!!

— Пустите меня, Филонов... — сказали вы слабым голосом. — Граф, помилуйте... — пробормотал я, нависая над вами. — Извольте встать! — взвизгнули вы. Я неуклюже соскочил с кровати. — Да, ничего не скажешь! — сказали вы, кряхтя поднимаясь в свой черед. — Да... Славно ты меня, Филонов, опредметил... От всей души! — Вы подобрали оторванную золоченую пуговицу и зажали в кулаке, как ребенка. — Славно, ничего не скажешь, кхе-кхе!... Где тут у тебя ванная комната? — Не в силах вымолвить ни слова, я махнул рукою на дверь. Вы волокли по паркету свои панталоны. В ванной раздался шум воды, но сквозь шум доносились спазмы рыданий. Я задрапировался в халат и с тупым удивлением обнаружил, что к подолу присохло несколько червячков вермишели. Я стал деловито оттирать их. На меня нашел умственный столбняк.

Вода шумела. Мне вдруг представилось, что вы удавились на полотенце. Я тихонько поскребся в дверь. — Граф! — позвал я. — Граф!... — Отойдите от двери, — раздался сухой ответ.

...Я вздрогнул: вы выходили из ванной. В отношении мундира вы выглядели по-прежнему несколько помято и недосчитывались пуговиц, однако лицо вы сохраняли. Вы сохраняли суровое лицо, я бы даже заметил — свирепое, с малиновыми припухшими веками. В негодовании вы прошли мимо меня армейской походкой. В прихожей обернулись: — Ну, Филонов! Костей не соберешь!... — трясущимися руками совладав с замком, вы удалились, полный достоинства. Вдали громыхнула железная дверь ассансера.

Отец-командир! Не погуби...

Что же вы медлите? Я совершенно извелся. Я две недели простоял с поднятыми руками. Но руки вконец затекли, и я понял: — Передо

мной приоткрылась имперская тайна. Невольно, сокрушенный моей страстью к Юлии, вы выдали ее...

Граф, все ясно, мы с вами жертвы! Жертвы одной возмутительной, вопиющей истории! Спокойно, граф, я сохраню тайну. Я — никому, тсссссс!... И Доротея плачет, а я молчу. Заперся и не открываю. Даже не ем ничего. Граф, скажите, а вы? Вы обедаете? только ни слова о пище!... Граф, смею вас заверить, я вообще не по этой части!!! Меня повсюду тошнило от вида общественных бань и офицерских клубов, с их игрою на бильярде. Я не знаю, где кончается Юлия и начинается вы, где демаркация, я не делаю между вами сближений, крещу воздух перед собой! Чур меня! Чур! Чур!

Мне бы вас тогда перекрестить!...

Утро. Искал Юлию на карниз.

Берегитесь! Я вас ослаблю. Вам придется в отставку! Просвещенное наше общество схватится за животики. Ха-ха! Панталоны, свисающие с сапога!!! Смело, скажут, Филонов опроцедурил графа! Ха-ха...

Где Юлия? Где абрикосовые щечки? Где моя единственная любовь? Прогрессисты не поймут, не поверят...

Сию в желтом доме за семью печатами. Этого нет, но будет.

Только вы, граф, знаете истину! Только вы носите в вашем мужественном сердце горечь нашего кви про кво! Так простим же друг друга — и помиримся!

Антр ну: чего не бывает? Да и Юлия, если по совести, мне не нужна. Кто она мне? Надувная кукла! Никто — даже меньше!

Доротея! Девочки! Я вас люблю!!!

Я не виноват, что Юлия зазывно звенела в презренный фаянс. Я нечаянно подслушал божественные звуки бубна. Вон Круглицкий, он всякие стихи пишет, ему перемены подавай, ручки да почки, вы с ним построжее! А ко мне чего привязались?

Ноли мэ тангере, граф! — заклинаю вас. — Ноли мэ тангере!

Если что, буду кричать! (Кричи!... Кричи!...) Меня услышат. Бердяев, которого в Вологду, хотя не люблю. Слышишь ли ты меня, Бердяев?

БЕРДЯЕВ: — Слышу! Слышу!

То-то! Слышали, как заухал? Бердяев против равенства и матерьялизма. Это он меня научил, что матерьялизм пахнет дешевой колбасой с чесноком. Мы его отловим и повесим на первом фонаре, граф! Долой всех, кроме порядка! Не стучите в двери! Это Бердяев ломится. У него язык на вылете, он опасен, граф! В остальном виноват Круглицкий. Это он подслушал мне Юлию. Он шепнул мне: возьми ее себе. Я взял. Я повел ее через ночную рошу. Круглицкий — блошинный король. Он меня тоже предал.

Обращаюсь к вам, Ваше Сиятельство, со следующими вопросами:

1. Когда вы стали Юлией?
2. В котором часу?

3. Когда Юлия стала вами?

4. Кто был любовницей Федора: она или вы?!

Как женщина она меня не устраивает: кричит. Во-вторых, мне ее секретная анатомия не нравится. Зато какая музыка! Ишь ведь, но тсссссс! Я дал слово. Располагайте мной, граф! Эх, мамаша, угораздило же тебя!...

Смирно, Филонов!

Да здравствует Юлия!

Исполать вам, Ваше Сиятельство!

*Апрель 1981*

## КАК МЫ ЗАРЕЗАЛИ ФРАНЦУЗА

А мы его не резали. Мы только хотели посмотреть, что у него внутри. Ширяев сжалился над неприбранной душой и оставил жить у себя. Есть не просит, а вдвоем все-таки веселее. Смотри только, не фулюгань, бусурманский елдык!

Француз оказался покладистый, но иногда по ночам вдруг начинал сильно выбрировать, так что даже люстра приходила в движение и позвякивала посуда на столе. Ширяев спал чутко и тотчас просыпался от звука посуды. Сейчас я тебя удалю через форточку, хриплым голосом грозил Ширяев. Француз все равно не сразу переставал. Вот я теперь из-за тебя не засну до утра, укорял Ширяев француза. Он лежал и слушал, как француз шарахается по комнате, больно ударяясь о стены. Оборот, — бормотал Ширяев.

Утром из-за стены неслись дикие звуки музыки. Молодожены собирались на работу. Они хлопали дверьми, громыхали на кухне. Потом вдруг все мучительство обрывалось. У Ширяева все умерли: жена, родственники, знакомые. Раньше Ширяев вставал рано, ехал на троллейбусе к дочери провожать внука в детский сад. Однажды он приехал — ни дочери, ни внука. В квартире жили чужие люди.

Молодожены возвращались поздно, часто, судя по запаху, подвыпившие и жадно вылавливали из кастрюли куски жирного мяса. Отношения между соседями с самого начала не сложились. Ширяев разгадал их план и перенес свой маленький холодильник в комнату.

— Еще чего-нибудь подсыпят, — объяснил Ширяев французу.

Он специально выходил в коридор и прохаживался там, чтобы показать, что еще не умер.

Ширяев круглый год носил теплое белье, потому что он был пожилой усталый человек и по опыту знал, что зима сильнее лета. В прачечной, куда Ширяев медленно ходил сдавать белье, молодые девки-приемщицы его ненавидели. Он показывал очереди свое удостоверение в целлофане и протискивался к окну. Удостоверение лежало в нагрудном кармане воензированной рубашки. Ширяев одевался по-военному, но без погон.

— Вы бы постеснялись такое белье приносить,— говорили девки-приемщицы, выдавшие разное белье.

У Шириева начинали ходить ходуном руки, но он сдерживался, угрюмо молчал.

Девки принимались искать метки, и их начинало мутить от вони.

— Забирайте ваше белье обратно,— грубили Шириеву девки.

— А вы мне инструкцию покажите,— отвечал тот.— Я знаю свои права.

Француз радостно хихикал, слушая рассказ Шириева. У девок не было инструкции насчет вони. Француз приехал на стажировку в университет и вскоре, освоившись, пустился посещать разные компании. В компаниях его хорошо принимали, потому что он был французом, и русские, несмотря ни на что, ему начинали все больше нравиться. У себя во Франции он был одинок, мама его жила в Тулузе, и он ее видел раз в год, у него всегда ныли зубы, а здесь вдруг перестали, и тогда он зачастил в московские театры и даже стал покуривать. Курил он неумело и, когда затыкался, норовил поперхнуться, закашляться, и это очень импонировало московским женщинам, которые стали его учить, как надо курить. Он съездил в Загорск, удивился, глаза его стали осмысленными, ему понравилось, как трещат свечи в русских церквях, хотя он был атеистом и в Бога не верил. Шириев тоже не верил в Бога и в Загорске никогда не был. Потом, как-то раз в воскресенье, француза отвезли на могилу Пастернака и объяснили, какую роль играет поэзия в русской жизни. На могиле в банках стояли цветы, люди все шли и шли поклоняться поэту, кто-то стал читать наизусть бессмертные строки, остальные молчали, француз был потрясен, достал откуда-то «Доктора Живаго» на французском, ходил с поднятым воротником, закидывал длинный художничий шарф за плечо, близоруко шурился, московским женщинам это все тоже импонировало. Шириев слушал французa молча, сидя сторбившись на стуле, сжав ладони между коленями. Однажды мой внук,— сказал Шириев,— понимаешь, толкнул одного парня из их группы. Парень противный такой, задавался, игрушки заграничные приносил, в общем, мой взял его и толкнул... Ну вот, опять музыку включили! — расстроился Шириев.— Из прачечной гонят, дома нет никакого покоя, назло включают, знают, что я не выношу. О Париже французa никто не расспрашивал. Ну, иногда только. Спросят: а вы такой фильм видели? Да-да, я слышал о нем,— сосредоточенно тряс француз головой. Он вообще в Париже в кино ходил редко, практически не ходил.

На крики Шириева пришла заведующая прачечной и, даже не пригнувшись к белью клиента, сказала решительно: Несите домой! Шириев понял, что если он проиграет этот бой, если проиграет, то — пропал! И толпа сдающих белье тоже была настроена враждебно. Кругом враги. Молодожены дико захохотали. Понимаешь,— сказал Шириев,— я навел справки. Она уехала в Монголию. Зачем? Почему в Монголию? Ничего не сказала, уехала, уехала. И внука увезла. Я прихожу: чужие

люди. Я говорю: Где Люда? Они передо мной дверь закрывают. Я туда-сюда. Никто не знает. Потом узнаю: уехала в Монголию. Я говорю: Как уехала? И — ни письма тебе, ничего. Уехала в Монголию. Как это понять? О, да, Монголия, — понимающе закивал француз, — транссибирская магистраль. Внук у меня хороший, — сказал Шириев. Он пожевал губами. — Ничего не понимаю. Какая-то Монголия. Зачем она его увезла? Вернутся, — успокаивал его француз. — Вернутся, никуда не денутся. Вернутся, — покачал головой Шириев. — Вернутся, спросят, где я? А я червей кормлю — вот где я. Соседи отравили. У меня мать в Тулузе, — поддакнул француз, — тоже так страдала от одиночества, но она никогда не жаловалась. А я что, жалуюсь? — вскинулся на него Шириев. — Я хотел в ДОСААФ пойти поработать, они сначала: да, а потом: вам нельзя, от вас пахнет. Раньше от меня не пахло, раньше всех мой запах устраивал, а теперь, значит, пахнет. Какие-то особые носы завели: им повсюду вонь чудится. Не говорите! — согласился француз. Я спрашиваю заведующую: какая же вы заведующая, если вы даже до белья боитесь дотронуться? У меня орденов и медалей больше, чем у вас золотых зубов! Если вы мое белье не возьмете, я в Центральный Комитет напишу! Все, дорогой мой друг, кончилась Советская власть! Я ей удостоверение показываю, а она его рукою отводит. Не нужно мне, — говорит, — никакого вашего удостоверения, если у вас белье в таком виде. Что же это получается, — говорю, — это как же так, теперь что, полагается носить в прачечную чистое белье? Это, простите, форменное вредительство. Тебя они зарезали, меня хотят отравить — и все им с рук сходит, да? Да, — согласился француз, — теперь моей маме даже никто не напишет письма. А ты бы поменьше по этим всяким Загорским шлялся, — напустился на него Шириев. — Сидел бы у себя в университете, делом занимался. Да я даже не предполагал, что так выйдет, — изумился француз. — Я же ничего такого особенно не делал. Ходил в театры, съездил на могилу к Пастернаку. Потом к художникам стали звать в мастерские. Все — очень милые люди. Сюрреалисты, авангардисты, концептуалисты. Шириев отрыгнул. Извини, — сказал он, — продолжай. Да нет, ничего, — сказал француз. Я сегодня пошел в нужник, — сказал Шириев, обеспокоенный кислой отрыжкой, — понимаешь, встаю, оглядываюсь, — ты тоже оглядываешься, когда встаешь? — у нас замполит так говорил: нет, дескать, в мире ни одного человека, ни пролетария, ни капиталиста, ни китайца, ни чернокожего, который, дескать, не оглянется; такая, говорит, человечья природа, которую мы собрались переделать. — На этот счет существует античная басня, — скромно вставил культурный француз. Сам ты — басня, — напомнил ему Шириев. — И что я, как ты думаешь, вижу? Все — красное. Прямо в крови все и плавает. Ну, думаю, кишки лопнули, сейчас умру. Но сначала, думаю, нужно проверить. Доверяй, но проверяй. За вчерашнее спасибо, за сегодняшнее отвечай. Два шага вперед — один назад. Или наоборот, забыл. Короче, — оживился Шириев, — я взял тряпку, спускаю и кручу. — Шириев опять отрыгнул. — У меня такое предчувст-

вие, что завтра отнимутся ноги, — сказал Шириев. — Что мы с тобой тогда будем делать? — Ну и что дальше с тряпкой? — спросил француз, желая, видимо, сбить Шириева с черных мыслей. Да, так вот, понимаешь, кручу. То есть, понимаешь, в воде кручу и потом осторожно приподнимаю. И что ты думаешь? Вижу, что это никакая не кровь, а эта, как ее, на «ка», тьфу ты черт! Ну не клюква, забыл... Свеклá! — радостно догадался француз. Точно! — крикнул Шириев. — А ты откуда знаешь? — подозрительно сощурился он. — Вы вчера на завтрак свеклú ели. — Ишь ты, все замечаешь, — огорчился Шириев. — Ну ел. А что, я свеклý есть не могу? Молодожены вырубili музыку. Угомонились, сволота, — сказал Шириев. — Сейчас будут скрипеть кроватью. — Шириев задумался. — У меня внук есть, — сказал он. — Так, представь себе, он однажды в детском саду толкнул случайно одного пацана, а тот возьми и ударься зубами о край песочницы. Я как ни в чем не бывало прихожу вечером забрать внука, а там чепэ. Няньки бегают, воспитательницы вопят. Ваш внук, говорят, мальчику зубы передние выбил. — Шириев встал, почесал поясницу и пошел ковыляя к форточке. — Сквозняк, что ли? — Он потянулся к форточке и долго возился, никак не мог ее закрыть. — Не закрывается, — расстроился Шириев и в отчаянье махнул рукой: — Всё просрали! — Он прижался лбом к стеклу и посмотрел, как во дворе тускло горят два фонаря. — Вот говорили: электрификация, электрификация, а что вышло? Фонари горят, а порядка нету. Я говорю заведующей: я на вас управу найду. У вас фабрика-прачечная простыни рвет, а вы к пустякам придираетесь. Она тогда к людям обращается, тряся моими кальсонами: товарищи, говорит, вы посмотрите, какое безобразие он тут нам принес! Я ей отвечаю: прекратите демагогией заниматься. Я сейчас милицию вызову! И, понимаешь, все против меня. И бабы с накрашенными мордами, и мужики в шляпах: Забирайте, мол, свое белье! Нет, — говорю, — не на того напали. Я — сибирский волк... Ну вот, заскрипели, — кивнул на стену Шириев. — Развратничают друг с другом. Теперь у них мода такая пошла: вверх ногами лижутся, как собаки. Оттого и дети дебилами рождаются. Это все-таки скорее от водки, — предположил француз. А, не любишь русской водки? — хмыкнул Шириев. Откуда же я знал, — вздохнул француз, — что с русскими нужно ухо держать востро! Я прямо как шальной ходил, из гостей в гости, ни о чем не догадываясь. У меня стали портиться стереотипы. Я думал, стадо баранов, что вы неприхотливы, как черви, а тут на тебе! — культурные люди, читают стихи наизусть. Молчи! — прошептал Шириев. Они оба прислушались. Во дает девка! — неодобрительно сказал Шириев. — На всю Москву воеет. Звери, — добавил он. — Вот завтра у меня ноги отнимутся, до телефона не допозу. Умру от голода. Думаешь, они вызовут «скорую помощь»? Им моя комната нужна. Я умру — они здесь жить будут, моя комната больше ихней. Они мне так сказали, — разволновался француз, — у вас там, конечно, все лучше, но зато мы лучше всех. Кто сказал? — спросил Шириев. Я скоро увижу матушку, — еще больше разволновался француз, —



вот успокоюсь и отлечу, ориентируясь, как Наполеон, по Минскому шоссе. Я тебя не гоню, — объяснил Ширяев. — Живи. Сдалась тебе Франция. — Мне надо, — горячо лепетал француз. Ну, вот, — расстроился Ширяев, — одна в Монголию, другой в Тулузу. А что там у вас в Тулузе? Зима бывает? Бывает, — сказал, вспоминая, француз. — Нежная-нежная, как мармелад. И внучонка увезла, — всхлипнул Ширяев. — А он у меня знаешь какой? Вырастет — все по-своему переделает. В меня растет. Он наведет порядок, не бойся, у нас не Тулуза. Они говорят: французские песни знаешь? Ну знаю. Ну так, давай, парень, запевай. Ну хорошо. Я подумал, запел Марсельезу. Они говорят: не то. Душевное знаешь? Ты, говорят, почему пьешь, а из тебя человека не появляется? Почему, говорят, из тебя человека наружу не рвется?! Кто это сказал? — насторожился Ширяев. Ну эти самые, — сказал француз. Хватит тебе, вот что, бесноваться, — сказал Ширяев. — Посуду перебьешь! — Ширяев грузно опустился на постель. Молодожены один за другим сбегали в ванную и опять стали скрипеть кроватью. — Я когда в лагере сидел, — сказал, раздеваясь Ширяев, у нас там француза одного убили, забыл, как его фамилия, ну, в общем, француза, а может, шведа, не помню, давно это было. Вы мне ничего об этом не рассказывали, — сказал француз. А чего рассказывать? — сказал Ширяев. — Тогда много честных людей сидело. На границе вот с этой самой Монголией. И чего ее туда понесло? Может, влюбилась в кого? Я понял, что дело плохо, — жаловался француз, — и запел, что знал, из детства: Маржолен, тю е си жоли... Дурной ты! — сказал, засыпая, Ширяев. — Я по тебе скучать буду.

## СОДЕРЖАНИЕ

Попугайчик . . . . .	3
<...> . . . . .	12
Девушка и смерть . . . . .	18
Бердяев . . . . .	26
Как мы зарезали француза . . . . .	43

ЕРОФЕЕВ Виктор Владимирович

### ПОПУГАЙЧИК

*Рассказы*

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 4.06.91. Подписано к печати 8.07.91.  
Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,06.  
Тираж 89000 экз. Зак. № 561. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА  
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;

А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;

В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;

В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;

З. ГИППИУС «Последние стихи».